Михаил Катков
Философ на газетном троне



Михаил Никифорович Катков (1818–1887) – самая значительная фигура за всю историю русской публицистики. Он сделал свою газету «Московские ведомости» второй после царской (а порой, по совести сказать, и первой) властью в России в 1860–1880-е гг.: редакция на Страстном бульваре превратилась в настоящий «департамент Каткова», откуда ждали указаний министры, сенаторы, губернаторы, порой даже жандармы.

Слово публициста приобрело политический вес. Причем не при посредстве «общественного мнения», а благодаря собственной убедительности, благодаря тому, что Каткову удалось внести смысл, целостность видения и ясность направления в деятельность государственной машины эпохи Александра II и первой половины царствования его сына. Облеченная в блестящую литературную форму, страстная и, в то же время, строго логичная публицистика Каткова

подкреплялась его личным влиянием на множество государственных деятелей – и это позволяло Михаилу Никифоровичу требовать изменения принципов национальной политики, останавливать и хоронить проекты конституции, вводить новую систему гимназического образования, изменять университетский устав и законодательство о судах.

Он представлял себя, свои печатные издания и свою неформальную политическую «партию» как охранную систему, обязанную реагировать на любые угрозы, возникающие с любой страны для государства. В конце жизни, оправдываясь перед Александром III, разгневанным попыткой Каткова диктовать внешнюю политику (Михаил Никифорович требовал заменить пронемецкого «министра иностранных дел в России» Н. Гирса и подталкивал страну к тесному союзу с Францией, каковой и был реализован после его смерти), публицист попросил передать государю: «Я повинуюсь инстинкту сторожевого пса, который не может быть спокоен, чуя недоброе для дома и для его хозяина».

М. Катков в итоге вычеркнул из письма к императору это сравнение, так как осознал, что профессиональный охотник поймет его несколько иначе, нежели понимает он сам – профессиональный философ. Образ «сторожевых псов» постоянно встречается в «Государстве» и других диалогах великого Платона. С ними великий афинянин ассоциирует сословие стражей, которое, руководимое пастухами-философами, должно охранять мир, целостность и могущество государства. «Ведь в нашем государстве мы поручили его защитникам служить как сторожевым псам, а правителям – как пастухам».

Метафизика центростремительного движения

Мы не поймем ничего в идеях Каткова, его политической мысли и политической практике, если забудем о том, что

Михаил Никифорович был одним из компетентнейших русских философов первой половины XIX века, последователем одного из величайших представителей немецкой классической философии – Фридриха Шеллинга, в доме которого часто бывал в период, когда обучался в Германии.

«История есть эпическая поэма, составленная в уме Бога. Две главные её части таковы: в первой изображается уход человечества от своего центра к самым дальним пределам, а вторая изображает возвращение. Первая часть – "Илиада", вторая – "Одиссея" истории. В первой было центробежное движение, во второй – центростремительное», – в такой поэтичной формуле Шеллинг выразил саму суть своей философии.

Родился Михаил Никифорович в Москве, 1 (13) февраля 1818 года, в семье мелкого чиновника, причём, кажется, ещё дед его не был дворянином. Мать была кастеляншей, то есть заведовала бельем, в Бутырской тюрьме. Жили в нищете, но несмотря на это Катков получил блестящее гимназическое, а затем университетское образование. Когда он сдавал экзамены в Московском университете, инспектор С. Нахимов, брат адмирала П. Нахимова, посылал студентов послушать ответы Каткова, чтобы понять, как надо учиться.

По натуре Михаил Никифорович был типичным «пассионарием» в совершенно «гумилёвском» значении этого слова. Он сочетал фантастическое упорство, волю к знаниям, огромный талант и внутреннюю силу с каким-то кипучим фанатизмом и готовностью крушить всё и вся на пути к цели и не щадить никого и ничего. В. Белинскому, дружившему с ним в молодости, Катков казался диким, необузданным, самолюбивым ребенком, таящим в себе невероятные силы, которые сотрясут все вокруг.

Университет М. Катков закончил в 1838 году, став блестящим филологом. Он начинает сотрудничать в «Отечественных Записках» и «Московском наблюдателе» как переводчик и литературный критик. Помогает В. Белинскому изучать

Г. Гегеля. Активно участвует в московских кружках Н. Станкевича, Т. Грановского и А. Герцена – Н. Огарева. Наряду с будущими западниками и революционерами, активно общается и с тяготевшими к шеллингианству славянофилами,

Вопреки постоянно встречающимся в нашей литературе утверждениям, М. Катков никогда не «переходил от Гегеля к Шеллингу». Первые же его статьи проникнуты полноценным шеллингианским мировоззрением. Первая же крупная программная статья молодого автора, – рецензия на «Песни русского народа», изданные И. Сахаровым, опубликованная в «Отечественных Записках» в 1839 году, была выполнена в традициях русского шеллингианства. «Уже из первых вступительных строк виден в авторе ученик профессора Павлова, в пансионе которого он обучался», – вспоминал А. Д. Галахов. Профессор и содержатель пансиона М. Г. Павлов, бывший одним из виднейших тогдашних русских шеллингианцев, заявлял: «Последователи сего Философа теорию его проводят чрез все царства природы с разительным успехом; по сему теория Шеллинга имеет право на преимущество пред всеми доселе известными».

Уже в первом произведении, едва перешагнувший порог двадцатилетия мыслитель предлагают построенную на шеллингианских принципах оригинальную философию русской истории, основных тезисов которой будет придерживаться всю жизнь.

Народ М. Катков рассматривает как единство шеллингианского типа, то есть холистическое, органическое единство, таинственно проявляющееся в индивидуальном и многом: «Народ есть органическое, живое существо, но чисто духовное, а не чувственное. В каждом отдельном предмете части, составляющие его, и единство этих частей, связующее их в одно целое, пребывающее на известной точке пространства, – сопроникаются взаимно и взаимно друг друга условливают. Отнять от предмета это единство – значит рассыпать его на части, значит умертвить его… В народе целость частей

существует не явно, как в отдельном предмете: она незрима, она таинственно связует члены народа, по-видимому разрозненные, по-видимому не имеющие никакой внутренней, живой связи. Части народа сами по себе, в их разрозненности, доступны для эмпирического воззрения; но видеть органическое существо в народе, видеть живую связь его частей может только тот, у кого открылись духовные очи».

Начало истории русского народа, следуя принципу шеллингианской космогонии, Катков усматривает в центробежном движении, которым характеризовалась удельная Русь, Russia divisa, как назвал её Шлецер. Это этап творческого превращения тождества во множество (и его распространения, кладущего начало универсуму) и рисует величественную картину центробежного движения русской истории: от первоначального недолгого единства при первых Рюриковичах до предельной раздробленности, в которой русский народ предстает как первотворец и первожертва, рассекающий себя на части.

«Различные коренные элементы, из которых после организовалось государственное тело России, в мгновенном соединении ознакомились друг с другом, вгляделись друг другу в лицо, чтобы после узнать друг друга, и разошлись, не утратив, однако, чувства своего единства, заключавшегося для них в общем центре. Как ни дробились, как далеко ни находились они, этот общий центр никогда совершенно не терял своей притягательной силы. Великое княжество или непосредственно, как высшая сила, или косвенно, как цель стремлений, как игрушка честолюбия удельных князей, было этим центром… Всё назначение сил Руси в продолжение этого смутного периода, по-видимому, состояло только в том, чтобы без всякой определенной цели взаимно гнать друг друга и разбегаться по пространству, чем дальше, тем лучше; все назначение народа заключалось в ужасной необходимости разрывать себя на части и разбрасывать свои члены во все стороны, чем дальше, тем лучше…

Когда же наконец народ свершил по этому направлению всё нужное, когда он занял огромную часть того пространства, которое зовется теперь Европейскою Россиею, когда клуб сил народа размотался до истощения, тогда это разбежное движение должно было прекратиться и смениться новым направлением… Ещё один шаг – и народ достиг бы до последней крайности, и это эксцентрическое движение погубило бы Русь…»

Если бы центробежное движение не сменилось бы центростремительным, то «разбросанные члены народы разъединились бы навеки; каждый из них сосредоточился бы сам в себе и стал бы жить своею собственною жизнию, подобно частям рассеченного полипа…» А если бы после подобного расторжения русские элементы снова соединились бы, то «их сплавила бы не родная кровь: их связал бы чуждый цемент, и это целое не было бы выражением сущности русского народа, не было бы Русью». По всей видимости, под таким «чуждым цементом» вместо родной крови, который мог бы связать русские земли, подразумевается здесь Литва.

На смену центробежному дроблению приходит центростремительное движение, проявление магнетизма, как одного из ключевых понятий шеллингианской натурфилософии. Монгольское нашествие прерывает разбегание Руси, искусственно ограничивает его, а явившееся вместе с тем сердце России – Москва, запускает процесс магнетического стягивания силы и власти.

«От монгольского ига встрепенулось и обнаружилось сердце Руси, боль отозвалась в нём, и кровь вдруг, сначала неровно и бурно, хлынула к нему. Это сердце, дотоле таинственно крывшееся, это сердце – Москва. Магнетическая сила сердца волею или неволею начала привлекать к себе, или, лучше, совокуплять в организм растерзанные члены, – прибегает Катков буквально ко всем доступным образам шеллингианской натурфилософии. – Всё больше и больше, всё могущественнее и ровнее текла по возникшим и ежечасно

укреплявшимся жилам кровь к средоточию своего обращения, перерабатывалась в нём в жизненную теплоту, которая, в свою очередь, всё с большею силою струилась к периферии и оживляла охладевшие члены. Период монгольского ига справедливо называется периодом усиления Москвы. И чем больше усиливалась Москва, тем всё больше и больше ржавили монгольские цепи, – оне, наконец, перержавели и спали сами собою. Иоанну III не стоило никакого усилия освободиться от ига: он сбросил его с себя, как сбрасывают ветхую и уж ненужную одежду».

Размышление о «Песнях русского народа» выливается у Каткова в настоящий гимн русской истории, выработавшей такой оригинальный и значительный исторический феномен как Русское государство по своей жизненности и «силе ассимилирования» (ассимиляция станет основой катковской идеологии национальной политики), превосходящей Рим: «Кто же после этого скажет, что жизнь русского народа была бесплодна? Кто будет жаловаться, что он во все время своего продолжительного существования ничего не совершил, ничего не породил? Но разве легко было выработать этот организм, перед которым мы остановились теперь в благоговейном изумлении? Разве ничего не значило породить эту неодолимо мощную и внутри и вне, эту необъятную монархию? Разве эта монархия не свидетельствует о дивной силе народа, её создавшего? Какое государство, укажите, может сравниться с нею по объему и могуществу, и по изумительной силе ассимилирования? Не Рим ли, это отвлеченное, мертвое единство частей, не знавших и не хотевших знать друг друга? Но и самый Рим – разве не дорогою ценою купил он всемирное владычество, разве не вся жизнь его была приготовлением к этому владычеству? разве страницы его истории не так же мрачны? И какая бесконечная разница: Рим, который в продолжение всего своего развития готовился к смерти, Рим, который, достигнув апогея, начал жить, – и Русь, которая беспрерывною борьбою с смертию достигла

торжественной великой жизни, Русь, которая начала тогда жить всею полнотою свежих сил, когда стала на вершину необоримого могущества!..»

Тот же прием он применяет и к анализу уже не государственности, а самóй русской цивилизации, предлагая довольно оригинальную концепцию русской культуры, основанную на разливе и разбегании, как на основном аффекте русской души, связанном с постоянным ощущением безотчетного недовольства.

«Загнанная внутрь самой себя горькою, злою действительностию, вся сосредоточенная в безнадежном чувстве уныния, русская душа вдруг приходила в судорожное потрясение, разрывала поглощавшее её чувство, выбивалась из самой себя, с неодолимою силою разбегалась во все стороны, низвергая и уничтожая всё встречное, разливалась и терялась в бесконечности пустого пространства. Ничто не было сильно удержать этот могучий разлив… Не будучи в силах представить себе содержания исполинского могущества, которое впоследствии должен был наполнить её дух, она вся предавалась ощущению отвлеченного, чисто формального могущества и упивалась им, не переводя дыхания. Вот значение того, что мы обыкновенно зовем разгулом русской души, которая тешится своими силами, разрывая ими мелочные путы тесного быта, и, не направляя их ни на что, разливается в них чем дальше, тем лучше».

Манифестом русского разгула является мир русского былинного эпоса. «Это мір, созданный из русского разгула, заселенный русским разгулом, живущий разгулом, и в то же время это мір органических, сосредоточенных и крепко в себе замкнутых форм; это мір, в котором всё бежит, и льется, и разливается вдаль и в котором, однако ж, всё имеет живой образ на себе и центр внутри себя».

Но вот разрозненная богатырская сила русского эпоса концентрируется в одном лице, в одной фигуре – царе, собирателе власти, Иоанне Грозном.

«Русь, начавшая себя чувствовать цельным организмом, перестает уже дробить свой идеал и выражать его в целости многих отдельных лиц: она сосредоточивает и совокупляет его весь – в одном лице великого монарха. Она собрала всю свою силу, которую прежде фантазия разливала в подвигах богатырей, в новогородском вольничанье, в удальстве, и влила её всю в одного человека и любовалась ею во всех действиях этого человека… Перестав быть силою физическою и сосредоточившись из удалого разгула, она засверкала духовным огнем в очах властелина: она стала сердцем царевым.

Но так как организм Руси не приял ещё в себя своей доли из духа всемирно-исторического, так как Иоанн не был сам Петром, а был только предтечею Петра, то и сила его, хотя уже и сосредоточенная, не приняла ещё своего средостремительного направления и оставалась в прежней неопределенности. Оттого и огонь, горевший во взорах Иоанна, палил и жег, а не грел; оттого и сила его обнаруживалась не во всеобъемлющей благости, а прорывалась разрушительной грозою».

Ни о каком «переходе от Гегеля к Шеллингу» применительно к Каткову говорить не приходится. Катков был шелллингианцем по картине мира с самого начала своей писательской карьеры и обсуждать можно лишь изменения в степени его владения философским методом, материалом шеллингова учения и особенности применения этого учения к политическому анализу.

В целом же сформулированная в рецензии на «Песни русского народа», изданные И. Сахаровым, шеллингианская интерпретация русской истории останется для М. Каткова доктринальной основой на протяжении всего его творчества. Образ «силы, так тяжко и так медленно слагавшейся в северо-восточных пустынях Европы», стягивающей все разрозненные элементы силы в целокупное могущество, чтобы от внешней государственной мощи перейти к внутреннему творческому росту, кочует из одной катковской статьи в другую.

С московскими кружками Катков расходится по личным причинам. Он был единственным из кружка Н. Огарева, кому нравилась его жена, Мария Львовна. Вся остальная компания её ненавидела, считая недуховной обывательницей, которая стремится увести Огарева от товарищей. Впрочем, интерес товарищей был вполне практическим: Н. Огарев был очень богат и кружки в значительной степени опирались на его помощь, – правда, в ходе свободолюбивых прогрессивных экспериментов к концу 1840-х гг. Огарев разорился. Михаилу Каткову Марья Львовна искренне нравилась – их дружба переросла в короткий, закончившийся скандалом роман.

Весной 1840 года, будучи у Огаревых, М. Бакунин зачем-то вломился в комнату Марьи Львовны (впрочем, может быть, будущий наставник С. Нечаева просто шпионил?) и застал Каткова, сидевшего у ног Огаревой и положившего голову ей на колени. Разумеется, всё было немедленно пересказано не только Огареву, но и всем желающим, и отношения Каткова с «кружковцами» были порваны.

М. Катков почти без средств решает ехать учиться заграницу, в Германию. Без средств потому, что издатель В. Поляков обманывает его с гонораром за перевод «Ромео и Джульетты». Однако перед отъездом М. Катков случайно встречает в одном из петербургских домов Бакунина, обвиняет его в подлости и затевает с ним ссору. М. Бакунин по-барски тянется к палке, но валится под градом катковских оплеух. В итоге стороны договариваются о дуэли заграницей, но М. Бакунин попросту скрывается и заминает дело.

М. Катков посещает Францию, Бельгию и Германию. Учится в Берлине у Ф. Шеллинга, едва не женится на его дочери. Возвращается он в Россию убежденным патриотом и столь же убежденным «западником». Однако совсем не того толка, что доморощенные левые западники. Катков считает Россию великой европейской нацией, которой предстоит занять свое место в ряду других. Вместе с историком

С.М. Соловьевым и физиком П.М. Леонтьевым он создает свое крыло западников.

С 1845-го по 1850 год Катков был адъюнктом по кафедре философии Московского Университета, а опубликованная им в журнале «Пропилеи» работа «Очерки древнейшего периода греческой философии» представляет собой весьма глубокий и оригинальный взгляд на развитие древнегреческой метафизики в эру досократиков.

Неожиданный взгляд на Каткова как на метафизика дает выдающийся философ Владимир Соловьев – совсем не сторонник Каткова в политике: «Я был тогда доцентом Московского университета по той самой кафедре, с которой некогда преподавал Катков. Наши разговоры нередко касались философских предметов. Катков говорил очень своеобразно: отрывочными краткими изречениями и намеками… Я с удовольствием слушал эту импровизацию, будучи вполне единомышленником Каткова в метафизике». В убеждении, вносимом Катковым во всякое политическое дело: «главное – принцип, установлен принцип – дело выиграно», В. Соловьеву слышался «старый шеллингианец».

Принципиальная, философская, метафизическая сторона вопроса для М. Каткова была главной всегда и во всём. И констатация этого факта даст нам возможность понять катковскую политику как целостную систему, вытекающую из постижения античной метафизики. Русская политика «катковского» направления вытекает непосредственно из метафизики движения в платоновском «Тимее».

«Платон различает, во-первых, круговратное движение натуры тождественной, неделимой, самостоятельной, как бы духовной, во-вторых круговращение натуры лишенной самости, делимой, натуры в которой всё друг друга исключает и всё относится как другое к другому… Первое движение – движение натуры самостоятельной или тождественной… Цель этого движения есть сосредоточение, это движение есть стремление удержаться в самом себе, в своей

чистой активности… Второй круг противоположен первому… Одно по необходимости тяготеет к другому, а будучи предоставлено самому себе оно бежало бы прочь, в безграничность… Если в первом собственное стремление движущегося есть стремление к центру, то во втором собственное движение есть бег от центра». Платон, в интерпретации Каткова, видит в центростремительном движении высшее достоинство, связанное с активностью, во втором же, центробежном, лишь низшую форму движения.

Итак, движение к центру, к единству, к неделимости есть проявление духовной активности, самостоятельности, высшей природы. Движение центробежности, деление, сепаратизм, разбегание – есть упадок и смерть души. Такова восходящая через Шеллинга к Платону метафизическая основа мировоззрения М.Н. Каткова. И совершенно очевидно, что именно эту основную мысль мы видим в его политических идеях, публицистике и государственной деятельности.

«Катков давно стал знаменем, символом известных стремлений. Соединим их в одно: он есть символ всего центростремительного в нашей земле, устремляющегося к центру, к сосредоточению; в противовес иным центробежным силам, также обильно развитым в нашей земле, – силам, разбегающимся от центра к периферии, стремящимся разорвать целость нашего сознания, целость истории нашей, наконец, целость нашей территории. Можно без преувеличения сказать, что в его личности вдруг ожила и заговорила старая Москва, Москва Калиты, Иоаннов, первых Романовых, и, заговорив, – покрыла своим голосом новую Россию в самый тяжкий и смутный период её существования, когда она “разделишася на ся”. Этот профессор университета, автор “Очерков древнейшего периода греческой философии”, был силен не тем, что дала ему школа, не тем, чему выучился заграницею, хотя всему, чему учился, он учился хорошо; он силен был дедовской землей, которую носил за пазухой своей рубахи, под новым сюртуком; силен был самосознанием Минина, которое

в половине XIX века и вооруженное всеми средствами новейшего образования явилось ни в чём неизмененным против своего древнего выражения», – так чрезвычайно удачно резюмировал катковскую идею Василий Розанов.

В 1850 году, с началом суровой «реакции» на революции 1848 года, преподавание философии в университетах фактически упраздняется и М. Катков остается без кафедры. Однако с помощью университетского попечителя графа С. Строганова он получает в редактуру университетские «Московские ведомости» и быстро делает из них интересную газету. Пытается он основать и собственную газету или журнал, что было сделать довольно сложно – количество «издательских лицензий» было крайне ограниченным и фактически надо было либо перекупать издание у других, или получать разрешение на восстановление прежнего издания.

Государство или революция? Катков против Герцена

Лишь в 1856 году, с началом «оттепели» Александра II, Михаил Катков получает разрешение восстановить старый «Сын отечества» под названием «Русский вестник».

Журнал быстро становится центром «партии реформ», в которой одновременно состояли и западники, и славянофилы. Однако вскоре отделяются славянофилы с «Русской беседой», Катков спорит с ними по вопросу об общине, которую считает пережитком и фискальной выдумкой («Русский Вестник» в это время предвосхищает идеи столыпинских реформ). Катков в это время выступает как либеральный консерватор и убежденный англофил, сторонник просвещенного либерализма с опорой на жизненные силы нации. Он выступает за расширение местного самоуправления, доверие между властью и народом, реформы, ведущие к улучшению общества. Чтобы иметь большие возможности влиять на политику, Катков наряду с «толстым журналом» приобретает

ежедневную газету – ею становятся родные ему по прежнему редакторству «Московские ведомости».

Катков выступает глашатаем западнического либерализма на «англоманский» манер. Однако вскоре выясняется, что главные полемические силы надо расходовать не на переубеждение неготовой к реформам косной бюрократии (она стараниями царского брата Константина Николаевича едва ли не поголовно была либерализована), и не на обмен критическими стрелами с друзьями-врагами славянофилами, а на последовательное противостояние мутной волне нигилизма, поднимаемой всё более сдвигавшимся влево А. Герценом с его заграничным «Колоколом», Н. Добролюбовым и Н. Чернышевским в «Современнике», Д. Писаревым и Г. Благосветловым в «Русском слове»…

Главным врагом Каткова становится «Современник» и группирующиеся вокруг Добролюбова и Чернышевского начинающие «нигилисты». Не имея возможности нападать на власти прямо, нигилисты выбирают своей целью «Русский вестник», который атакуют в совершенно «падонкофф-ской» как бы мы сейчас сказали манере, используя, прежде всего, сатирическое приложение к «Современнику» – «Свисток». Сперва свистунов пытается осадить даже А. Герцен, но вскоре «Колокол» начинает звать к революции и топору, присоединяясь к нападкам нигилистов на М. Каткова – английские покровители первого русского диссидента дали сигнал «фас».

Вместо продуманных модернизирующих страну реформ начинает маячить призрак подначиваемой из-за границы революции. Призрак тем более грозный, что император и высшая бюрократия за прошедшие несколько лет сами приучили чиновников Империи всех рангов считать герценовский «Колокол» изданием в котором написано то, что царская власть скажет завтра. А герценовский тон становится всё более развязным и подстрекательским, на фоне возникавших один

за другим пожаров, создававших ощущение, что Российская Империя уже на пороге революции и анархии.

И тогда Катков решается нанести «Искандеру» (псевдоним А. Герцена) публичную политическую пощечину.

«Недавно случилось нам упомянуть о русских агитаторах, проживающих комфортабельно за морями: разве то, что они делают, не те же поджоги? Или так они невинны, что не понимают, к чему клонятся их манифесты? Или они думают, что возбуждать стихийные страсти, которые так же мало разбирают свои жертвы, как и пожары, которые так же сопровождаются всеобщими бедствиями, падающими на бедных и богатых, на честных и бесчестных или ещё более на первых, – не значит поджигать, особенно когда проповедники живут весело в сторонке и ещё менее обыкновенных поджигателей рискуют своею особой. Разве это не одно и то же? Разве это ещё не хуже? Разве нельзя ожидать всего от людей, которые действуют таким образом?

Наши заграничные réfugiés* (мы хорошо знаем, что это за люди) находят, что Европа отжила свое время, что революции не удаются в ней, что в ней есть много всякого хлама, препятствующего прогрессу, как например: наука, цивилизация, свобода, права собственности и личности, и вот они возымели благую мысль избрать театром для своих экспериментов Россию, где, по их мнению, этих препятствий нет или где они недостаточно сильны, чтобы оказать успешный отпор. Они пишут и доказывают, что Россия – обетованная страна коммунизма, что она позволит делать с собою что угодно, что она стерпит всё, что оказалось нестерпимым для всех человеческих цивилизаций. Они уверены, что на неё можно излить полный фиал всех безумств и всех глупостей, всей мертвечины и всех отседов, которые скоплялись в разных местах и отовсюду выброшены, что для такой операции время теперь благоприятно, и что не надобно только

* Эмигранты (англ.). – *Прим. ред.*

затрудняться в выборе средств. Все эти прелести с разными гримасами появлялись в русских заграничных листах, все воспроизводятся и развиваются в подметных прокламациях, которые появляются в самой России и которые были бы невозможны нигде, кроме России…

Превратится в смешное воспоминание тот чудовищный поразительный факт, оскорбляющий теперь до последней глубины наше народное чувство, тот факт, что несколько господ, которым нечего делать, несколько человек, неспособных контролировать свои собственные мысли, считают себя вправе распоряжаться судьбами народа с тысячелетнею историей (бедный тысячелетний народ, за что суждено тебе такое унижение?), предписывая законы его не учащейся молодёжи и его недоученным передовым людям. В далекой перспективе воспоминания станет также смешон, а не отвратителен этот осторожный и благоговейный тон, с которым говорят у нас о вышеупомянутых законодателях даже те из нашей пишущей братии, которые в душе или исподтишка осмеливаются роптать и негодовать на них».

Пощечина получилась на удивление звонкой. А. Герцен воспринял слова «мы хорошо знаем, что это за люди» как намёк на его позорную связь с женой Н. Огарева и разразился истеричной ответной статьей: «Вы, вероятно, не станете отрекаться, – писал Герцен, – что под словом заграничные réfugiés вы разумели нас, издателей “Колокола”, и потому позвольте вас спросить: Какие же мы люди, г. Катков? Какие же мы люди, г. Леонтьев? Вы ведь хорошо знаете, какие мы люди, – ну какие же? Если в вас обоих есть одна малейшая искра чести, вы не можете не отвечать; не отвечая, вы меня приведете в горестное положение сказать, что вы сделали подлый намек, имея в виду очернить нас в глазах вашей публики. Говорите всё… в нашей жизни, как в жизни каждого человека, жившего не только в латинском синтаксисе и немецком учебнике, но в толóке действительной жизни, есть ошибки, промахи, увлеченья, но нет поступка,

который бы заставил нас покраснеть перед кем бы то ни было, который бы хотели мы скрыть от кого бы то ни было».

Недавний диктатор прогрессивной мысли предстал после ядовитых насмешек М. Катков в образе обиженной истеричной барышни. Перед А. Герценом впервые не трепетали. Над ним смеялись. Довершал порку Катков уже серьёзным тоном, вскрыв нравственное убожество Герцена как подстрекателя революции.

«“Ну, какие же мы люди?” – спрашивает он. Какие же вы люди? Да не совсем вы люди честные!

Пусть он подумает, какая дрянь должен быть тот человек, в котором при полном отсутствии всякого внешнего контроля, всякого принудительного ограничения не оказывается чувства самоответственности, побуждающей человека отдавать себе полный и строгий отчет в каждом слове и деле. Он величаво отвертывается от мелких людишек, которые продают за деньги свои услуги и Богу, и дьяволу. Он ударит себя по карману и скажет с гордостью: “А я вот за деньги не продам своей совести!” Но нечестные побуждения бывают всякого рода: не в одних деньгах сила, кресты и перстни те же деньги. Он также величаво отвертывается и от тех, которые кривят душой из угодливости, из тщеславного искания почестей и продают себя за чины и за власть. Он истощает свое острословие на генеральские чины и мундиры…

Но пусть он осмотрится в том особом мире, среди которого он живет и действует: там есть свои мундиры и генералы. Пусть он подумает, как он живет в этой республике разноплеменных выходцев и политических агитаторов всех сортов. Сначала он ухаживал за великими этого особого мира, добиваясь их интимности, собирал их записочки и предавал их тиснению, хотя в этих записочках часто ничего другого не значилось, кроме “здравствуйте” и “прощайте” или приглашения на чашку чаю. Ухаживая за великими, он, наконец, и сам захотел сделаться великим. Мадзини – представитель Италии; ему надобно сделаться представителем России.

И вот тайная пружина его деятельности; вот на что употребил он свою свободу и представившиеся ему средства действия. Вот чем он дурманил себя, вот за что он продал свою совесть…

Все эти выходцы имеют какое-нибудь политическое значение; каждый опирается хоть на что-нибудь положительное, каждый примыкает хоть к чему-нибудь определенному в своем народе, каждый знает, чего он хочет. Чего же захотел и на что опирается наш фразеолог? Ему захотелось что-нибудь значить между этими знаменитостями и стать генералом от революции.

Родина его не разделена и не находится под иноземным политическим игом; тяжкая и трудная история создала её великим цельным организмом; русский народ, один из всех славянских, достиг политического могущества и стал великой державой; благодаря ему славянское племя не исчезло из истории как чудское и латышское; но эту судьбу купил он ценой великих усилий и пожертвований. Государственное единство есть благо, которым русский народ дорожит и должен дорожить, если не хочет обратить в ничто дело тяжкого тысячелетия и исчезнуть с лица земли. Это основа его национального бытия, купленная дорогой ценой, и он должен крепко держаться её, и он крепко её держится. Но настала пора, когда задержанные и подавленные прежним развитием силы должны вступить в действие; настала пора внутренних преобразований, которые должны воскресить эти силы…

В чем же состоит задача честного писателя, сколько-нибудь мыслящего и действительно любящего свою родину? Брожению ли этому способствовать или созидательному делу? Запутывать ли дело всякой негодной примесью, капризами и фантазиями и вызывать губительные реакции, или разъяснять и упрощать его, и сосредоточивать общественное внимание на элементах существенных и бесспорных? <…>

Может ли он, положа руку на сердце, сказать, что он так действовал? Он не действовал, он юлил и вертелся, ломался

и жеманничал, бросался под ноги всякому делу; он умел только смущать, запутывать, вызывать реакцию. Перед каждым практическим вопросом он раскрывал бездну своего пустого и бессмысленного радикализма и только пугал, раздражал и сбивал с толку. Результаты его деятельности на виду: было ли сказано в его писаниях хоть одно живое слово по тем реформам, которые у нас совершались, по тем вопросам, которые у нас возникали?

Что путного было сказано, например, по поводу крестьянского дела, самого капитального и самого трудного? Ничего, кроме тупоумных разглагольствований г. Огарева и сценических вскрикиваний г. Герцена. Они то ругались холопски, то с приторной аффектацией, более оскорбительной, чем их грубости, выражали свое сочувствие: “Ты победил, Галилеянин!” –

кричал наш Мадзини, стоя на одной ноге, как балетмейстер. Было ли хоть что-нибудь разъяснено, было ли хоть в одном слове видно желание сказать что-нибудь серьёзно обдуманное? Было ли сказано хоть одно слово, в котором мог бы узнать себя какой-нибудь положительный интерес, важный для страны, дорогой для народа, – не для сочиняемого в фантазии, а для настоящего, живого русского народа? На что опирались издатели “Колокола”? Что имел за собой наш генерал от революции?

Он опирался на то, от чего мы должны во что бы то ни стало отделаться; он опирался на то зло, которое выработалось и скопилось у нас за прежнее время. Единственная сила, на которую он опирался, есть не что иное, как бессилие нашей общественной цивилизации, бессилие нашего общественного мнения, бессилие нашей казенной науки и тот внутренний разлад, который господствует между мыслью и жизнью, – жизнью, которая идет сама по себе, и мыслью, которая сочиняет для неё в облаках формы и утопии. Силы этой оказалось довольно, – оказалось довольно разгулявшейся бессмыслицы и идиотизма, пустившегося

мыслить, и невежества, принявшегося поучать, и безмозглой мечтательности, схватившейся за дело. Силы этой оказалось довольно, и он не без гордости мог явиться в совет генералов и занять там приличное место как представитель русского народа. И вот для этой-то чести, ради этого высокого чина наш герой не усомнился пожертвовать своей совестью…

Он достигает своей цели; он принимает поздравления и адресы и участвует на совещаниях о всемирной революции. Он усиливает свою пропаганду и ещё пуще принимает тон пророка и окончательно отождествляет себя с русским народом; он вступает в переговоры с представителями других держав и, великодушный потентант, готов поступиться своими владениями и соглашается решить судьбу некоторых провинций…»*

Последняя пощечина оказалась пророческой. Пройдет всего полгода и А. Герцен окончательно уничтожит себя в глазах русского общественного мнения безоговорочной поддержкой польских мятежников, которых он будет подстрекать убивать «гадких русских солдат». И напротив, Катков выступит во всем величии своей роли «Кузьмы Минина» русского слова и русской мысли.

«Новый Минин» во всеоружии слова

Идея русского единства, недопущение ни малейшего сепаратизма, – это именно тот принцип, защита которого вознесла Каткова на политический олимп в эпоху польского восстания 1863 года. Отторжение Польши казалось тогда неизбежным, самые смелые государственники надеялись лишь, что удастся удержать в составе России Белоруссию, Украину и Литву, но и на это надежды было мало – всюду сновали шайки инсургентов и терроризировали русских крестьян, а пораженной параличом либерального

* *<Катков, М.Н.>* Заметка к издателю «Колокола» // Русский вестник. – 1862. – № 6. – С. 834–852.

реформизма власти нечего было противопоставить польскому национализму и горделивому духу цивилизационного превосходства. Тогда-то и создалась в русском обществе страстная проповедь редактора «Московских ведомостей», нашедшая немедленный отклик не только в высоких кабинетах, не только в умах образованной патриотической Москвы, но и в сердце простого московского народа.

«Поляки, вон, десять губерний оттягать хотят, а с чужих краев к ним идет подмога великая!.. Верно слово!.. Всё как есть в газетах пропечатано! А мы-то что?.. Не то мало у нас народу? Пускай Государь слово скажет, прочтут по церквам, так вся Москва подымется, а куда Москва – туда и весь народ», – вспоминал тогдашние народные толки участник подавления мятежа князь Н. Имеретинский и связывал это «в газетах пропечатано» именно с «Московскими ведомостями».

11 января 1863 года на всей территории Царства Польского и Западного края мятежники атакуют русские гарнизоны. Начинается террор – русских солдат и жен офицеров убивают из-за угла, верных подданных русского императора вешают специальные «жандармы-вешатели» во главе банд которых стоят католические ксендзы. Местные власти, во главе с главным либералом тогдашней России великим князем Константином Николаевичем, беспомощно смотрят на то, как контроль ускользает из их рук и уговаривают Санкт-Петербург лишь об одном – не применять репрессий. Тем временем западные державы видят, что наступил удобный повод добить Россию, униженную Парижским миром 1856 года. Они требуют признать повстанцев воюющей стороной, начать переговоры, созвать международную конференцию по польскому вопросу. Повстанцы же требуют восстановления Польши в границах 1772 года.

Катков так описывал это время позднéе: «Живо вспоминаются нам события того времени: как русским солдатам плевали в лицо, как их изменнически перерезали, как русской женщине нельзя было показаться на улице в Вильне,

не опасаясь быть оскорбленной; как наша администрация давала дурачить себя и плясала либеральный канкан под дудку то белых, то красных вожаков “польской справы”, как сами русские власти помогали этим вожакам набирать и дисциплинировать армию, и как напирала на нас европейская интрига, и как, наконец, наше оскорбленное народное чувство, воспрянув, расправилось и с европейской интригой и с польским мятежом».

Но пока русская «свободная печать» по польскому вопросу молчит. Нигилисты по рукам и ногам повязаны польской интригой и играют роль пятой колонны внутри страны. Славянофилы говорят что-то невнятное, пишут о борьбе великих культур, намекая на то, что «у поляков своя правда». И здесь-то и раскрывается все величие фигуры Каткова – он один, оказывается, имеет ясные принципы и готов без всяких компромиссов проводить их в жизнь.

Идеология Каткова проста – последовательный русский имперский национализм. Польша – часть России, на её территории должны без изъятия действовать все русские законы. Мятежники должны быть жёстко разгромлены. Русское (великороссы, малороссы, белорусы) население должно быть освобождено из-под национального гнета польских помещиков и должен быть осуществлен передел земли в пользу русских. В культуре необходима политика последовательной русификации и призыва на Запад чиновников из русских губерний. Всякие международные претензии на суверенную территорию России должны быть жестко отвергнуты, причем не надо бояться и войны.

Каждый день «Московские Ведомости» рассказывали о новых зверствах поляков, сдирая с мятежа всякий романтический ореол. Каждый день М. Катков писал передовицу за передовицей, посвященные не только мятежникам, но и критике пассивности властей Царства Польского и Западного края. Каждый день Катков разъяснял: если поляк может любить свою родину, то и русскому позволено любить

свою; если поляк хочет за свою Речь Посполиту убивать русских, то значит русский, за Российскую Империю, должен утопить в крови поляков.

«Статочное ли дело, чтоб из двух соединенных народностей одна, и именно завоеванная, пользовалась большими льготами, чем другая, и именно главная и господствующая? <…> Возможное ли дело, чтобы льготы давались побежденным в ущерб победителям? Народ, утративший свою свободу, потому что не умел ею пользоваться, получит преимущество перед народом, который с беспримерным самопожертвованием понес все тягости для утверждения своего государственного единства, который в своей истории ни разу не пошатнулся и всё, чем пользуется, купил не браками, как Австрия, а кровью и пóтом. Народ, который с Божьего помощью одолел всех своих врагов, должен стать подножием своему побежденному сопернику…»

Михаил Катков посвящал газете весь день. Это был действительно настоящий фанатик. Днем проводил встречи, хлопотал о делах, давал указания о статьях, ночью, плохо видящий, диктовал свои знаменитые передовицы. Отсюда совершенно особая интонация катковских текстов – когда закрываешь книгу, создается впечатление, что прервался долгий, взволнованный монолог, паузы между частями которого достаточно произвольны. В конце большинства статей так и ждешь пометки: «продолжение следует» и часто она там действительно стояла. За 24 года передовиц набралось на 25 томов посмертного издания. В передовицах он говорил обо всём: внутренней, внешней и национальной политике; религии, культуре, идеологии; финансах, тарифах, железных дорогах.

Катков был блестящим мастером и аналитического обзора, и политической проповеди, и хлесткого злого фельетона, как, например, статья «Совпадение интересов украинофилов с польскими интересами» (о затевавшемся «украинском» движении) или убийственная характеристика М. Бакунина –

«Кто наши революционеры». Будучи блестящим филологом, он владел словом как никто до и после среди русских публицистов.

В 1863 году самоотдача Каткова быстро принесла плоды. Началось, по сути, национальное восстание русских против собственного отупения, трусости и нигилизма. Простые рабочие отслужили панихиду в московских церквях по убитым русским солдатам. Дворянство и купечество с подачи М. Каткова организовало подачу «адресов» поддержки Государю Императору. Правительство наконец-то начало принимать жесткие антиреволюционные и антипольские законы, сделав ставку на указанную М. Катковым «русскую» карту в земельном вопросе Западных губерний.

«Два имени были у всех на уме и на языке: Муравьёв и Катков, – вспоминал князь Н. Имеретинский. – В какой мере был знаком умиротворитель Литвы с московским писателем до восстания, я не знаю. Народное бедствие сравняло, сблизило их, а сравнивать этих двух людей было очень трудно. Один являлся во всеоружии власти, имея в руках государственный меч, врученный ему самим монархом с обширными полномочиями. В руках Каткова было одно только перо. Он был частным человеком, почти без всякого официального или служебного положения. Однако из сближения этих двух полюсов сверкнули молнии, испепелившие крамолу до самого корня! Не буду говорить о тогдашних статьях Каткова, они слишком общеизвестны. Не буду распространяться и о том, с каким жгучим интересом прочитывал я “Московские ведомости”. Едва ли ошибусь, если скажу, что с ними народ переживал душою и умом каждый день и час смутного времени. Эти статьи укрепляли, ободряли и вдохновляли самого Муравьёва. Говорю не наобум, потому что слышал это от самого Михаила Николаевича».

«Катков пишет дельно, убедительно, потому что не боится писать. Это прямой народолюбец, воистину русский человек! Он зорко смотрит, далеко видит и дело понимает

так, как оно есть! Дай Бог, чтобы все так понимали!..» – передавал князь Н. Имеретинский отзыв о М. Каткове самого М.Н. Муравьёва.

Национальная доктрина Каткова

Заслуга Михаила Каткова в деле подавления мятежа, грозившего гибелью Российской Империи, заключалась, прежде всего, в полемике с теми идейными течениями в русском обществе, которые готовы были проявить к польскому сепаратизму снисходительность, а к польской русофобии – понимание. Западники и революционные демократы поддерживали поляков, как нацию европейскую и просвещенную, которой постыдно пребывать под гнетом «противных» (по выражению А. Герцена) русских. Представители высшей бюрократии из т.н. аристократической партии испытывали классовую солидарность с бунтующими польскими панами (одним из основных мотивов восстания было нежелание польских панов освобождать крестьян по сформулированным в царском манифесте правилам). Даже славянофилы видели в польской проблеме «роковой вопрос», признавая право польской народности на самостоятельность. И только Катков без всяких компромиссов видел в мятеже вызов тому принципу государственного и национального единства, который он считал высшим законом жизни.

В Российской империи мыслима только одна нация – русская.

«Решительно настаиваем, что в Российской империи нет и не может быть другой национальности кроме русской, другого патриотизма, кроме русского, причем мы вполне допускаем, что русскими людьми и русскими патриотами могут быть, как и бывали, люди какого бы то ни было происхождения и какого бы то ни было вероисповедания». Катков был сознательным защитником идеи русской гражданской нации: «Национальность есть термин

по преимуществу политический… Для того, чтобы быть русским в гражданском смысле этого слова, достаточно подданства».

Тем немыслимей для Каткова было бы навязываемое сейчас различение «русских» и «россиян». Для него русская нация открыта для человека из любого племени. Но в иерархии племен в Империи на первом месте для него мыслимо только русское. Катков был шокирован и подавлен, когда Александр II однажды произнес перед польской депутацией речь со словами: «Я люблю одинаково всех моих верных подданных: русских, поляков, финляндцев, лифляндцев и других; они мне равно дороги». Ему показалось это провозглашением принципа безнародности верховной власти в России, «медиатизацией» русского народа, превращающей его из носителя действующего государственного начала в одну из многих групп подданных, которые монарх вроде бы одинаково любит, а на деле – одинаково равнодушен.

«Нас приготовляют к покушению на самоубийство мыслию о страшной разноплеменности народонаселения русской державы… Россия есть ни что иное как химера; в действительности же существуют двадцать наций, которым эта химера, называемая Россией, препятствует жить и развиваться самостоятельно. Двадцать народов! Каково это! А мы и не знали, что обладаем таким богатством… мы думали, что под русской державой есть только одна нация, называемая русской, и что мало государств в Европе, где отношения господствующей народности ко всем обитающим в её области инородческим элементам были бы так благоприятны во всех отношениях, как в русском государстве!».

Каткова не могло не возмущать то, что тогдашняя российская бюрократия смотрела на русский народ с подозрением и отчуждением (с тех пор ситуация только ухудшилась многократно): «Странная участь русской народности! Русская народность считается у нас господствующею народностью, Православная Церковь – господствующею церковью;

но малейший признак жизни в русском обществе, малейшая попытка русских людей сгруппироваться для совокупного действия даже против организованной измены и революции, даже для поддержания православия и русской народности против организованной пропаганды, – это кажется нам чем-то странным, неудобным и даже опасным».

Для самого Каткова русский народ всегда был на первом месте. Именно в нем он видел носителя идеи Российского государства, выстрадавшего его столетиями. И потому выступал как против уравнивания русских с другими народами, так и против неразборчивости в вопросах миграции.

«Первый признак порядочной семьи состоит в том, что в ней принимаются лица лишь с выбором, а не первые попавшиеся. Благоразумно ли слишком поспешно равнять с членами этой семьи, предки коих выстрадали нынешнюю Россию, первых встречных, кто только натолкнется, не имея гарантий благонадежности их, кроме желания принять наше подданство и получить соответствующие выгоды?»

Михаил Катков решительно выступает против миграционной всеядности, зато он видит благо в русификации. Большевистские пропагандисты и польские революционеры сделали всё, для того, чтобы понятие русификации превратилось в ругательство. Еще бы – ведь русификация предотвратила полонизацию Западной Украины и Белоруссии. Для Каткова же, бывшего главным идеологом политики русификации она означало приобщение народов к высшей культуре, к развитой русской цивилизации, к образованию, к языку и словесности мирового значения.

Забудем ли вклад самого Каткова как редактора «Русского вестника» в золотой век русской литературы – И. Тургенев, Л. Толстой, Н. Лесков – это всё «катковские» авторы. Ф.М. Достоевский без щедрых авансов М.Н. Каткова просто не выжил бы в самые трудные моменты своей жизни, когда оказался без средств с беременной женой за границей. Абсолютные вершины русской и мировой литературы никогда

не были бы созданы без поддержки Каткова. Достаточно привести названия произведений, впервые увидевших свет в «Русском Вестнике»: «Накануне» (1860 г.), «Отцы и дети» (1862 г.), «Дым» (1867 г.), – И.С. Тургенев; «Семейное счастье» (1859 г.), «Казаки» (1863 г.), «Война и мир» (1865–1869 гг.), «Анна Каренина» (1875–1877 гг.), – Л.Н. Толстой; «Преступление и наказание» (1866 г.), «Идиот» (1868 г.), «Бесы» (1871–1872 гг.), «Братья Карамазовы» (1879–1880 гг.), – Ф.М. Достоевский; «Соборяне» (1872 г.), «Запечатленный ангел» (1873 г.), «Захудалый род» (1874 г.), – Н.С. Лесков.

Впрочем, Катков иногда шел на идеологический конфликт даже в ущерб популярности – так, он категорически отказался печатать заключительные «антивоенные» главы «Анны Карениной». Решителен он был, когда настоял на переделке Ф. Достоевским «Бесов», не дав свести идеологический конфликт к фрейдистско-педофильской истории главы «У Тихона». Достоевский, впрочем, сам потом был Каткову благодарен.

Возник при поддержке М.Н. Каткова и особый жанр – антинигилистический роман. Собственно «Отцы и дети», «Преступление и наказание» и «Бесы» – в том же ряду. Но был и ещё ряд произведений талантливых авторов, которых, однако, совсем затравила «революционная» критика и они попросту были выброшены из русской литературы: «На ножах» Н. Лескова, «Панургово стадо» В. Крестовского, «Взбаламученное море» А. Писемского.

Особенно нужно сказать об одаренном Болеславе Маркевиче, авторе романа «Марина из Алого рога» и трилогии «Четверть века назад», «Перелом», «Бездна» – его произведения, в которых сплелись авантюрно-любовные интриги и идеологически-политические дискуссии, пользовались огромной популярностью у публики той эпохи, но полностью были выброшены из литературы позднейшим либеральным литературоведением. Б. Маркевич был важнейшим агентом М. Каткова в Санкт-Петербурге: вхожий в высший

свет, вплоть до окружения императрицы, зачитывавшейся его романами, он был как бы постоянным каналом связи и влияния Михаила Никифоровича на сановную столицу.

Вчитаемся в переписку Маркевича с его близким другом А.К. Толстым чтобы понять ту программу, которой придерживался «катковский» круг в 1860-е годы: «Что касается до эпохи, которая вас вдохновляет [Киевский период Руси], то я чувствую к ней не меньшее влечение, нежели вы, к московскому же периоду ни вы, ни я, ни К. (это я могу доказать выдержками из его газеты) не питаем ни малейшей симпатии. Тем не менее нельзя отрицать историю и вот в этом-то духе мы и будем действовать…

Разница между нами та, что вы, мой друг, гадливо от неё отворачиваетесь, мы же решаемся смотреть ей прямо в лицо и в её варварских, если хотите, чертах узнаем однакоже грубую, но мощную (этого вы не можете отрицать) силу, создавшую 80-миллионное государство, опираясь на которое джентльмен Александр I устоял против целой Европейской коалиции и вступил в Париж…

Почему же вы такому человеку как Катков, ясно отдающему себе отчет в своем призвании вменяете в преступление, что он признает огромные заслуги московского периода в смысле объединения, а следовательно и величия России. А, раз вы признаете за ним право по достоинству ценить эти заслуги, вы должны согласиться и с тем, что всякое историческое прошлое вменяет в обязанность последующим поколениям продолжать то же дело и преследовать ту же цель. Этим делом, этой целью для нас теперь, как и в то время, “собирателей Русской Земли”, является и будет являться лишь одно – это объединение государства. Катков не что иное как адвокат, защитник, представитель этого принципа, этого национального верования. В этом вся его сила, – сила до такой степени живая, что удержалась вопреки всем и всему и одна лишь в состоянии дать стране нашей ту цивилизацию, в недостатке которой вы нас упрекаете, так как цивилизация

прежде всего состояние народов, сплоченных изнутри и сильных извне».

По словам Маркевича, Катков «проповедует единый закон, единое управление, единый язык, на всем протяжении государства и требует от каждого подданного этого государства, какого бы ни был он происхождения, чтобы он считал себя прежде всего гражданином Русской Империи, а не Польши или какой-нибудь Terra Baltica… Иными словами он требует и проповедует лишь то (ни больше, ни меньше), чего хочет и требует Франция, Пруссия, Англия и Италия, словом, всякое европейское правительство, чувствующее свою силу и власть над подданными». «Неужели же вы бы хотели, – риторически спрашивает Маркевич Толстого, – чтобы он стоял за Распадение России на 2, на 3, на 1000 частей, подобно тому, что творится в Австрии».

Сильная и единая, культурно однородная государственная Россия в рамках катковской доктрины, излагаемой Маркевичем, – это непременное условие политической свободы и цивилизации. «Разве вы не согласны, что России, чтобы стать Европой, которой вы нас донимаете, нужна действительная свобода, существующая в Европе? А раз она нужна, как же вы не хотите понять того, что Россия никогда не достигнет этой свободы, пока несчастный вопрос об иностранных народностях не будет разрешен в смысле русской национальной идеи, представителем которой, опять-таки, является ненавистный вам Катков. Неужели вы не видите, что злейшие враги русской свободы те же поляки и немцы, считающие нас монголами и ставящие нас в разряд туранцев». В другом письме А.К. Толстому Б. Маркевич противопоставляет «зарю свободы», которая уже занимается, и «времена сатурналий Герцена и Чернышевского».

В Каткове писатель видит пророка истинного русского европеизма, который «говорит во всеуслышание, что мы не должны стыдиться быть русскими, потому что Россия – та же Европа, но для того, чтобы слово это не было пустым

звуком, России надо быть прежде всего Россией, точно так же как Франция прежде всего Франция, Италия – Италия и т.д. Следовательно, Россия должна прежде всего понять свои интересы и радеть о них, вопреки всяким посторонним соображениям, если таковые окажутся несовместимы с национальными интересами».

«Единые законы, единый язык, единое управление, как в центре, так и в окраинах, – вот цель к которой должно стремиться, – восклицает Б. Маркевич. – А чтобы достигнуть этой цели, будем прежде всего распространять цивилизацию у себя дома, дабы эти враждебные нам подданные русского Государя не могли более кичиться нравственным превосходством… Учредим у себя настоящую европейскую школу… Не будем тратить втрое больше денег, чтобы помогать остзейцам становиться немцами за счет русской казны, – нежели тратим мы на русские школы. Пусть лучше эти деньги возвращаются туда, откуда мы их берем, наш родной народ более в них нуждается, чем эти балтийцы, с которыми ему приходится бороться. Если уж необходимо тратить часть наших кровных денег на поляков и немцев, то позаботимся, по крайней мере, о том, чтобы деньги эти шли на образование будущих русских, а не прусских или саксонских граждан»*.

М. Катков сделал великую русскую литературу ещё более великой и потому был абсолютно уверен, что изучение именно этой литературы и русского языка государство должно сделать обязательным. Насколько своевременно сейчас, когда русский язык пытаются потеснить в программах некоторых региональных школ, звучат его слова: «Нигде в Европе не могла возникнуть мысль о преподавании в казенных школах на каком-нибудь другом языке, кроме языка общенационального…» «Русский язык – орган нашей цивилизации, залог нашего национального единства», – настаивал он.

---

* Цит по: *Маркевич, Б.М.* Письма Б.М. Маркевича к графу А.К. Толстому, П.К. Щебальскому и другим. – СПб, 1888.

Любое политическое движение в направлении, противодействующем русификации, для него – безусловное зло и жестокий самообман. Он решительный оппонент мультикультурализма и политики «многонациональности».

«Нет ничего ошибочнее того мнения, будто политика, лишенная национального духа, ведет к сближению инородцев с господствующим народом. Она ведет к результатам, совершенно противоположным сближению. Она не закрепляет, а раскрепляет связь государственную. Привилегии, даваемые инородцам, предпочтения, им оказываемые, прямо противодействуют сближению их с русскими. На что нам нередко указывают как на условие всеобщего единодушия, согласия и мира, в том заключается лучшее средство возбудить антагонизм, произвести рознь, породить нескончаемые смуты. Напротив, национальная политика есть средство упрочить и единство, и спокойствие, и благосостояние государства. Национальная политика есть дело государств цивилизованных, правительств разумных и просвещенных. Национальная политика состоит не в том, чтобы унижать чужое, а в том, чтобы возвышать своё»

М. Катков решительно протестовал против государственной поддержки «выращивания» тех или иных искусственных национальностей. В частности с этих позиций он оказался первым решительным оппонентом украинизма.

«Законодательные меры и правительственные распоряжения сами по себе не создадут нового языка или новой нации, но они могут создать фальшивое подобие того или другого… Ошибочным и ложно направленным вмешательством правительственной власти создаются фальшивые силы, не способные к жизни, но причиняющие великий ущерб и поруху живущему… Претендовать, чтобы правительство на казенные средства помогало распадению России, или создавало призрак, который стал бы вампиром целых поколений, – это верх нелепости, это сумасшествие».

К сожалению, борьба Каткова за то, чтобы украинизм не стал «вампиром целых поколений» оказалась обречена. Запрещенный в России, украинизм дожил на австрийские средства в Лемберге до тех времен, пока не получил государственную власть в сепаратной, а затем советской Украине. Но у нас, по прежнему, есть множество поводов, чтобы повторить эту ошибку, если мы не прислушаемся к голосу «стража» – Каткова.

С отвращением он отнесся бы к такому явлению современной российской государственности, как «нацреспублики» – государства в государстве, как без всякой фигуральности написано даже в учебниках обществознания.

«Кому неизвестно первое правило политического благоразумия, требующее, чтобы в государстве не было государств? Кому неизвестно, что государство в государстве есть коренное зло, которое своим существованием делает невозможным правильное развитие общества?.. А между тем в России это зло, приняв особую личину, развивалось систематически в то самое время, когда в России же, более чем где-либо, принимались стеснительные меры против коренных общественных сил, без самостоятельной организации которых невозможно правильное развитие жизни, – принимались стеснительные меры из опасения, чтоб эти силы не превратились в организации, опасные для государства.

Всякая национальность есть не что иное, как зародыш государства; всякий элемент, признаваемый, в видах возвышения или унижения, за особую национальность, неминуемо действует как чужеядное тело в составе государства… Всякого рода национальная рознь, которая допускалась в одном цельном государстве, всегда отзывалась потом горькими последствиями…

Главное зло, которому удобным орудием служила наша бюрократия, был этот фальшивый принцип разных национальностей, наполнявший её элементами, чуждыми национальности государства, которого она была органом. У нас

появились внутренние иностранцы, у которых оказывалось разом два отечества, которые чувствовали себя гражданами разом двух государств. Могут ли при таких условиях удовлетворительно идти дела и устанавливаться правильные воззрения на вещи в сферах мыслящих, влиятельных и действующих?…

Расширение пределов русской территории не считалось бы таким приращением могущества России, как её вступление в свои права у себя дома. Действительно, как бы ни раздвигали другие государства свои пределы, Россия долго ещё может восстановлять равновесие, не выходя из своих пределов, а только становясь в них сама собою… Только вступив в обладание собою, Россия, а с тем вместе и все внутренние её интересы, могут быть обеспечены и развиваться правильно и плодотворно».

Если своевременно не покончить с такой матрешечной государственностью, однажды свою собственную страну придется завоевывать снова. Фактически Россия руками Муравьёва и словом Каткова вынуждена была вести политическую и культурную реконкисту собственной же территории, захваченной «европейской цивилизацией».

«Не беспримерное ли явление представляет собой теперь Россия, делающая завоевания в пределах собственной территории? Иначе не смотрят политические люди Европы на нынешние действия нашего правительства, например в западном крае, как на завоевания, хотя эти завоевания состоят только в том, что Россия захотела, наконец, серьёзно быть Россией в своих собственных владениях. Расширение пределов русской территории не считалось бы таким приращением могущества России, как её вступление в свои права у себя дома…»

Именно поэтому Катков с такой яростью борется за внешнюю суверенность России, подчеркивая: более всего Запад ненавидит Россию тогда, когда она занята своими делами в своих интересах: «Всё политическое

искусство европейских правительств по отношению к России состояло в том, чтобы вовлекать её правительство в такие положения и сочетания, которые наименее соответствовали бы её собственным интересам и в которых она служила бы посторонним для неё целям, сколь можно более в ущерб себе… Там, где хоть сколько-нибудь выступал наружу русский интерес в европейских делах, можно было с уверенностью ожидать, что все правительства станут против нас заодно. Не могла быть допущена никакая комбинация, выгодная для России, не мог быть поднят никакой вопрос, который хотя бы отдаленным образом обещал разрешиться в русском смысле. Русская политика в Европе могла что-нибудь значить только в той мере, в какой она отреклась от своего национального характера…»

Политическая метафизика Каткова вполне совпадает с его философской метафизикой. Есть движение центростремительное, к единению государства вокруг русских национальных начал, русского языка и культуры, к высшей цивилизации. А есть движение центробежное, сепаратистское, когда от России отпадают окраины, когда сам русский народ стремятся раздробить, противопоставив великороссам «украинство», а русскому национальному языку искусственно вылущенные наречия. Первое – путь жизни и полноты бытия, второе – путь деградации и смерти.

Ту же метафизику Катков прилагал не только к русской политике, но и к американской. И здесь его рассуждения звучат неожиданно актуально – по сути М. Катков оказался первым русским «трампистом»: «В Северной Америке нет помину о партиях либеральной и консервативной в политическом смысле. Зато там есть две партии, которые постоянно и открыто борются между собой. В первой вся центростремительная сила государства, которую зиждется его единство и держится его целость, патриотический дух и национальное чувство: это партия государственная, которая в Америке зовется республиканскою. Другая представляет

собою движение центробежное, партия расторжения и разложения, которая от этапа к этапу влечет людей к измене и бунту; она зовется в Америке демократическою партией».

Теперь мы лучше можем понять тот специфический «этатизм» Каткова, первостепенное внимание, которое он уделяет не обществу, а государству. Для него, как платоника, именно Государство есть высший принцип, образ логически стройного космоса. Именно в государстве, персонифицируемом самодержавием, заложена та центростремительная сила, что ведет к высшему бытию.

«В чем состоит ход образования государства? Не в чем ином, как в собирании и сосредоточении власти, – излагает Катков свою государственную теорию. – Покоряются независимые владения, отбирается власть у сильных, и всё, что имеет характер принудительный, подчиняется одному верховному над государством началу; дело не успокаивается, пока не водворяется в стране единовластие, покрывающее собой весь народ. Государство вооружено, но не против свободы, которая только в ограде его и возможна; оно вооружено против других государств как вне, так и внутри его. Власть по природе своей не может терпеть государств в государстве, и её прямое назначение – пресекать и возбранять всё, что имеет такой характер. Собирая и сосредоточивая власть, государство тем самым создает свободное общество. Власть над властями, верховная власть над всякой властью – вот начало свободы», – излагал Михаил Никифорович свою политическую философию. Только из государственного сверхмогущества может быть выведена частная свобода гражданина. Чем могущественней государство, тем большая реальная позитивная свобода его благонамеренного гражданина.

Русское государство есть государство русского народа. Такова политическая максима Каткова, на которой он настаивает и в том смысле, что государство должно обеспечивать жизнь русского народа, а не каких-то других, и в том смысле, что не существует на его взгляд

никакой розни, никакого противоречия между народом и государством, народом и землей, которые в той или иной мере пытались обнаружить многие – от славянофилов, противопоставлявших государство и землю, до части современных национал-демократов.

«Из отдельных и мелких зачатков государства сложилось одно великое целое. Отдельные племена и населения слились в один народ, и Русская земля есть русское государство, а русское государство есть Русская земля. Между народом и государством не должно быть никакой розни. Русское государство есть государство русского народа. Всякая действующая власть среди народа, всякое право, соединенное с обязанностями для других, все вынудительное и обязательное (и стало быть, всякое управление) должно восходить к одной Верховной власти, к одному государственному началу, ему подчиняться и от него иметь силу. Обеспечивая существование народа среди других народов, государство имеет своей дальнейшей задачей обеспечение личной свободы. Государство исполняет свое назначение, когда каждому предоставляет свободу во всём, что касается его лично, и не только предоставляет, но могущественно ограждает личную свободу».

Михаил Катков считал чрезвычайно опасными попытки славянофилов превратить различение Государства и Земли в доктрину, которая становилась бы основой политических суждений и решений от имени русского народа. Земская теория славянофилов при доктринерском проведении порождала и в самом деле довольно антигосударственную политическую логику, как в дни польского восстания. Вот как рассуждал в своей газете «День» о польской угрозе Иван Аксаков: «Если бы польские притязания ограничились одной польской территорией, т.е. пределами польской народности в тесном смысле, или, по крайней мере, Царством Польским, если бы поляки… постарались “локализовать” восстание, сосредоточить всю свою борьбу исключительно в одной местности, – может быть и самая борьба удержалась бы в грани-

цах чисто государственного, или даже правительственного вопроса.

Но польские притязания, простирающиеся на русские древние области, и явно высказанное, провозглашенное и свидетельствуемое историей покушение поляков – лишить русскую народность в этих областях всякой духовной свободы и подчинить её польскому и латинскому духовному гнету, одним словом, ополячить и окатоличить несколько миллионов русского народа, – все эти притязания и попытки возводят современную борьбу с Польшей в степень всенародного земского интереса. Польский вопрос отныне не дипломатический, не государственный, не европейский международный, – а русский, земский вопрос» *.

По этой логике, хоть и приводившей к верному выводу, что защищать от поляков Белоруссию и Украину непременно надо, получалось, что Российская Империя это какое-то совершенно отдельное от Русской Земли государство, и пока у неё отбирают Варшаву – русским можно не волноваться, а вот если начинают ополячивать Минск – тогда берись за дело.

В то время как национализм состоит в гипотезе сращенности нации и государства. Разумеется, эта сращенность должна быть двусторонней: любую угрозу нации в любой её части государство должно воспринимать как угрозу себе, но и наоборот – любую угрозу государству нация должна воспринимать как угрозу нации.

Именно так рассуждал Катков: «У нас часто говорят о земле в политическом смысле и землю противополагают государству. Но противоположность между землей и государством не выдерживает критики. Русская земля есть Русское государство, и Русское государство есть Русская земля. Это одно и то же, только с двух сторон взятое. И нельзя понимать так, что земля имеет свои интересы, отдельные

* День. – 1863. – № 21. – С. 2.

от государства, а государство – свои… Это было бы не то что земля и государство, а как бы два государства, на которые разломилась бы страна… Не только никакого антагонизма, но ни малейшей розни не должно быть между интересами народа и интересами государства. Каждая местность в государстве есть живая часть его. Целое состоит в своих частях и части – в целом. Государство не может быть равнодушно к тому, как идут дела в бесчисленных местностях, его составляющих, как живется ячейкам его организма»

Аксаковский дуализм – Земля versus Государство, предоставление «Земле» (опять же, что это такое в национальном смысле, кто принимает решения за Землю – сообщество славянофилов, некий славянский парламент?) возможности участвовать или не участвовать в делах государства, принимать или не принимать близко к сердцу разные группы государственных интересов, разумеется, вело бы ко всё большему отстранению русских от государственной жизни. То есть в противоположную национальному государству сторону. И того дальше – к войне земли против государства, которое, в своей государственной логике, разумеется, начало бы применять силу, добиваясь от земли послушания.

Разумеется, государство должно служить нации. И когда это служение не исполняется или исполняется не в полной мере – это крайне опасная ситуация, которую необходимо исправлять. Но вот отказ нации от участия в государстве, поза «я вам тут не служанка», по причине невзаимности – это разрушение и государства, и нации.

Без всякой симпатии Катков относился и попыткам ниспровержения Москвы с главенствующей роли в истории России. Он отвергал попытки противопоставить мнимо «холопской» Москве якобы «вольные» Киев и Новгород. Именно в Москве русская народная и государственная идея выражает себя в законченном виде и с небывалой силой.

«Москва не есть просто город; не кирпич и известь её домов, не люди, в ней живущие, составляют её сущность.

Москва есть историческое начало, Москва есть принцип. Люди переменяются, как непрерывно переменяются частицы живущего тела; переменяются люди, переменяются и нравы, и порядки. Но остается дух места, остается историческое начало. Москва, Кремль с его соборами, старые терема её царей и это Красное Крыльцо, по ступеням которого сходили столько событий, решавших судьбу Русской земли: всё это имеет свою силу, всё это известным образом настраивает, всё это в известном смысле обязывает. Единство и независимость Русского государства во что бы то ни стало и ценой каких бы то ни было жертв и усилий, – вот Москва, вот её значение в русской истории, вот то начало, которое ею знаменуется и в ней воплощается. Сказать: Москва – значит сказать: русская держава нераздельна и едина, значит сказать: русский престол есть неотъемлемое и нераздельное достояние русского народа и составляет одно с ним. Есть другие интересы, другие исторические начала, другие идеи; но Москва есть то, что она есть, и начало, ею представляемое, не заменимо никаким другим».

«Департамент Каткова» во главе Империи

После подавления Польского мятежа М.Н. Катков, не занимавший никогда никаких официальных постов, кроме незначительного в табели о рангах и нужного для профформы поста чиновника для особых поручений при Министре просвещения, прежде всего – публицист и издатель, превращается в политическую фигуру первой величины. Впервые не только в русской, но и в мировой истории публицист становится важнее большинства министров.

Однако за этот статус Каткову пришлось побороться. Многие влиятельные сановники, особенно министр внутренних дел Петр Валуев, пытались подчинить Каткова себе, превратить в свою марионетку. Для Михаила Никифоровича это было категорически неприемлемо – для него не было ничего

важнее принципа и Дела, то есть величия России, русского государства. Он не собирался превращаться ни в чью пешку и решительно шел на конфликт. Его не случайно прозвали «бешеным» – он с яростью обрушивался на вчерашних союзников, если расходился с ними по какому-то существенному вопросу. Если дело доходило до «линии», то перечить Каткову было нельзя.

П. Валуев был типичным представителем идеологии «дворянской» солидарности против других сословий. Он всеми мерами пытался ограничить наступление на права нерусского дворянства в Польше, Западном крае и Прибалтике. Сословный вопрос казался ему важнее национального. И Катков развязал против Валуева войну, намекая в своих статьях на сторонников «конфедерализации» России в самых верхах правительства. Газета получила предупреждение. Катков отказался его печатать. Валуев готовит второе предупреждение. Но 4 апреля 1866 года в Государя Александра II стреляет нигилист Д. Каракозов. Союзник П. Валуева министр просвещения А. Головнин уходит в отставку, а сам министр внутренних дел Валуев теряет часть своего престижа. Патриотические манифестации москвичей по поводу спасения государя неизменно заканчиваются у редакции «Русского Вестника» на Страстном бульваре. Все знают, кто является подлинным вождем «русской партии».

О роли Москвы в становлении Каткова надо сказать особо. При нем Москва возвращает себе роль духовной, смысловой и частично политической столицы России. Впрочем, лучше В.В. Розанова не скажешь: «Катков жил вне Петербурга, не у “дел”, вдали, в Москве. И он как бы поставил под московскую цензуру эту петербургскую власть, эти “петербургские должности”, не исполняющие или худо исполняющие “свою должность”. Критерием же и руководящим в критике принципом было то историческое дело, которое Москва сделала для России. Дело это – единство и величие России. Ну, – и самогласность Руси: без этого такие железные дела

не делаются. Хозяин “крутенек”, да зато – “порядок есть”. У “слабого” же, у “богомольного”, у благодушного хозяина – “дела шатаются”, и, наконец, всё “разваливается”, рушится, обращается в ничто.

Катков не мог бы вырасти и сложиться в Петербурге; Петербург разбил бы его на мелочи. Только в Москве, вдали от средоточия “текущих дел”, – от судов и пересудов о мелочах этих дел, вблизи Кремля и московских соборов, могла отлиться эта монументальная фигура, цельная, единая, ни разу не пошатнувшаяся, никогда не задрожавшая. В Петербурге, и именно во “властных сферах”, боялись Каткова. Чего боялись? Боялись в себе недостойного, малого служения России, боялись в себе эгоизма, “своей корысти”. И – того, что все эти слабости никогда не будут укрыты от Каткова, от его громадного ума, зоркого глаза, разящего слова. На Страстном бульваре, в Москве, была установлена как бы “инспекция всероссийской службы”, и этой инспекции все боялись, естественно, все её смущались. И – ненавидели, клеветали на неё».

Однако атака Валуева продолжается, несмотря на все попытки «русской партии» его остановить. Второе предупреждение. Третье. 12 мая 1866 года газета закрыта. М. Катков от редакторства устранен. Временным редактором удается назначить профессора физики и близкого соратника Каткова Н.А. Любимова. Катков пишет Государю. Тот, будучи в Москве 20 июня 1866 года принимает Михаила Никифоровича и говорит ему «Я тебя знаю, верю тебе, считаю своим… Сохрани тот священный огонь, который есть в тебе». Несмотря свои уступки либеральной петербургской бюрократии Александр II ценит Каткова. В каком-то смысле влияние Каткова при нём было даже сильнее, чем при консервативном Александре III. Для Государя независимый от бюрократии идеологический центр Каткова в Москве оказывается жизненно необходим и он готов постепенно усиливать его влияние.

25 июня 1866 года Катков возвращается к редактированию «Московских ведомостей». Теперь ему даровано право обращаться с докладными записками и письмами непосредственно к императору. С этого времени окончательно складывается «катковская» партия, членами которой становятся и многие чиновники. М. Катков усиленно проводит своих людей на важные посты в сфере просвещения, цензуры, внутренних дел. «Были министерства, – отмечал К. Победоносцев, – в коих ничего важного не предпринималось без участия Каткова». Впрочем, главным оружием Каткова, попрежнему оставалось именно слово публициста и дело общественного деятеля; конспирологические теории придумывались в основном либералами, чтобы как-то объяснить его неуязвимость и влияние.

М.Н. Катков смело ругал бюрократию и никогда не боялся быть «на ножах» с влиятельными либеральными бюрократами. Он охотно рассуждал о народных общественных силах, так же, как это делали и славянофилы. Но если те искренне верили в необходимость отдать «земле – силу мнения», то Катков всегда был убежден, что только государство способно, тем более в России, сделать что-то стоящее и результативное.

Любая «общественность» непременно превратится в говорильню, причём, как правило, в говорильню противогосударственную. Метафизика Каткова предполагает, что совокупность частных интересов и «притяжений» может удерживать вещи и людей вместе, но чисто в пассивном состоянии, для активного же движения нужна высшая идея, которую он и видел в самодержавном государстве.

М. Катков, что бы он ни утверждал публично, на деле никогда не отождествлял самодержавие лично с царем. Неприязненно он относился к аристократии, ощущая в ней космополитический центростремительный дух, противоположный национальному. Полемизируя с «консервативным» направлением аристократической газеты «Весть», защищавшей

сословную солидарность русского и польского дворянства, он гневно писал: «Если национальный характер государства ослабеет, то ослабеет и его единство… В России может быть только русское землевладение и русское дворянство, и русское дворянство отнюдь не может вступать в солидарность во имя отвлеченных интересов, с каким бы то ни было антирусским дворянством».

Еще меньше государственного Катков видел в либеральничающей интеллигенции. Эта интеллигенция для него – иностранное по своей сути явление. Его слова и сегодня звучат как приговор всем патриотам заграницы:

«Наша интеллигенция выбивается из сил показать себя как можно менее русской, полагая, что в этом-то и состоит европеизм. Но европейская интеллигенция так не мыслит. Европейские державы, напротив, только заботятся о своих интересах и немало не думают о Европе. В этом-то и полагается всё отличие цивилизованной страны от варварской. Европейская держава, значит, умная держава, и такая не пожертвует ни одним мушкетером, ни одним пфеннигом ради абстракции, именуемой Европой. Никакая истинно европейская дипломатия не поставит себе задачей служить проводником чужих интересов в делах своей страны. Наше варварство заключается не в необразованности наших народных масс: массы везде массы, но мы можем с полным убеждением и с чувством достоинства признать, что нигде в народе нет столько духа и силы веры, как в нашем, а это уже не варварство… Нет, наше варварство – в нашей иностранной интеллигенции. Истинное варварство ходит у нас не в сером армяке, а больше во фраке и даже в белых перчатках».

Подлинным сосредоточением политического идеала Каткова является народ, нация, как совокупность не только живущих сейчас, но и всех прежде ушедших и будущих поколений.

«Народ – не стадо голов и не сумма голосов; он также не в одних только ныне живущих людях. В народе живет его

прошедшее, в народе живет его будущее. Не в случайном настроении хотя бы миллионов людей, живущих на территории государства, не в сумме праздных да или нет, как бы ни была она громадна, заключается судьба государственной области, а в той действительной силе, которая определяет и держит её»

Будем честны: Катков видел одушевляющим русское самодержавие логосом и подлинным голосом русской народности именно себя и своих единомышленников, свою партию, а потому упорно и последовательно боролся за расширение своего политического влияния – «назначал» министров, проводил реформы, подавлял конкурентов. Смиренно говоря о себе как о «страже», он, конечно, на самом деле ощущал себя как правящего платоновским государством философа.

И тут нам станет понятна и та фанатическая страстность, с которой он добивался внедрения классического образования в русских гимназиях. Несколько лет Катков потратил на то, чтобы ввести в Российской Империи гимназическое образование, строящееся на изучении древних языков. Нажил себе на этой борьбе немало врагов и неприятелей, подорвал добрые отношения со многими из тех, кто поддерживал его национальную борьбу. Знать греческий и латынь, смочь читать Платона в оригинале – для Каткова значило подготовить к правлению новые поколения молодых русских интеллектуалов.

Катков выдвигает модель классического образования, основанного на изучении древних языков, и сам же воплощает её в жизнь. В 1868 году им и его другом профессором латинской словесности П. М. Леонтьевым основан «Катковский лицей» – одно из элитарнейших учебных заведений тогдашней России. В 1872 году открывается при лицее и Ломоносовская учительская семинария – бесплатная школа для талантливых самородков, пришедших в Москву за знаниями, как некогда мальчик из Холмогор.

Еще раньше, в 1871 году вступает в действие, несмотря на ожесточенное сопротивление либералов, гимназический устав, сформулированный согласно идеям Каткова. Классицизм травили во всех ведущих западнических изданиях. Каткова травили как «мракобеса». Светское общество поделилось на два враждебных лагеря. Это было тем страннее, если учесть, что Катков настаивал на введении в России общеевропейской системы классического образования. Системы, которая была долгое время основой рекрутирования учеников Итона, Эколь Нормаль, Оксфорда и Сорбонны. Системы, которая принесла блестящие плоды в виде великолепно образованных русских ученых. Однако либералы, как и сам Михаил Никифорович, полагали, что «катковские» гимназии станут препятствием на пути распространению революционной проповеди. Если не отменят, то хотя бы затормозят проникновение смуты в ряды гимназистов и студенчества. Поэтому война в прессе и в верхах была жестокой.

Главное отличие катковского подхода к образованию от нынешнего в том, что для Каткова обучение в школе – дело серьёзное. Школа – это воспитание ума учащегося, развитие в нём интеллектуальной способности к усвоению всякой серьёзной науки, а не демонстрация «демоверсии» университетской программы, с иллюстрированным популярным пересказом задов позавчерашней науки. Для Каткова – общее образование – это образование у школьника гибкого и развитого ума, а не образование у него поверхностного представления обо «всём вообще» (такой тип образовательной философии, главенствующей у нас, следовало бы именовать скорее «вообще образованием»), поэтому главный враг серьёзного образования, по Каткову, это «многопредметность», это рассеяние ума учащегося по случайно выхваченным вершкам всяких наук, из которого потом выходит такой хаос, который только и способен породить прилежных читателей Фоменко, Бушкова и прочих, слышавших обо всём и обо всём готовых судить.

Катков отклоняет необходимость преподавания в школе «естественных наук» – и в самом деле, что это за преподавание, после которого первое, что слышат студенты университета на первом курсе, это требование «забыть всё, чему их учили в школе». Не менее жестко он ратует за сокращение преподавания «граждановедения» (тогда правоведения) и истории – «этих излишних уроков, в которых преподаватель будет возносить наших бедных детей на высоту идей своих плохо записанных университетских тетрадок или вчера прочитанной журнальной статьи, этих излишних уроков, в которых он будет рисоваться перед нашими юношами и раскрывать им тайны жизни и смерти, дух веков и народов, законы прогресса, будет изрекать приговоры над историческими деятелями, над политическими учреждениями и религиями».

Катков требует *«концентрации»* (ключевое в его концепции слово) – сильнейшего сосредоточения (более половины часов) на преподавании тех предметов, которые не дают простора идеологическому произволу и которые, в то же время, могут быть серьёзной наукой, серьёзным умственным трудом для учащегося, трудом ненапрасным, результаты которого не придется отбрасывать при переходе на следующую образовательную ступень. В нашей современной школе катковский идеал концентрации более-менее достигнут только в знаменитых «матшколах», и сам Катков признавал исключительное значение математики для умственной дисциплины, однако указывал на непригодность математики для полной концентрации: «Математика есть необходимый предмет, но она не соответствует всей умственной организации человека. Сосредотачивая преимущественно на ней учебные занятия, мы оставим в небрежении самые существенные силы, нарушим психическое равновесие и сообщим развитию молодых умов, вверенных попечениям школы, одностороннее, уродливое, неестественное направление».

Единственной наукой, серьёзное изучение которой в школе дает разностороннюю пищу учащемуся – и умственную, и нравственную, и эстетическую, является наука классической древности: изучение греческого и латинского языков и чтение древних авторов в оригинале, не пропущенном сквозь фильтры пересказов, популяризаций и адаптаций. Такое изучение – это и высокое, сложное, достойное серьёзного ума упражнение и, в то же время, усвоение богатого содержания, ключевого для формирования человека нашей цивилизации, того общего, что сближает Россию и Европу и что одинаково дорого для обеих культур.

«Усваивая логику, опечатлевшуюся в организации этих языков, юные умы шаг за шагом овладевают сверх того целым историческим миром, который лежит в основе современной цивилизации… Здесь невозможно поверхностное знакомство с делом, здесь невозможна никакая неопределенность и неточность, никакое двусмыслие; здесь узнанное с резкой явственностью отличается от неузнанного, понятое от непонятого, усвоенное от неусвоенного. Здесь юный ум трудом собственной жизни знакомится со всеми родовыми оттенками человеческой мысли, со всеми видами человеческого творчества в их первоначальных простых и чистых линиях. Здесь вызываются и приводятся в игру все способности духовной организации человека… Наконец, благодаря этим занятиям юные умы приобретают то историческое чувство, тот смысл действительности, в которых состоит главное отличие умственной благовоспитанности. Учебники истории никогда не сообщат им этого чувства истории; учебники истории дадут им только ряды слов и чужих воззрений, которые коснутся их лишь поверхностно. Но, усвоя шаг за шагом букву и дух древних языков, учащиеся самолично входят в мир истории и овладевают первоначальными источниками исторического ведения. Они усвоят себе историю на самом деле, всеми способностями и инстинктами. Они овладевают действительно бывшим, а не заучивают чужие рассказы и рассуждения

в учебнике…» – таково похвальное слово Каткова классическому образованию, заключаемое ссылкой на питомца греколатинской школы Ломоносова, первым внесшего в Россию дух подлинной науки.

Борьба Каткова за введение в России классического образования нажила ему немало врагов в «обществе» и толкнула со всей жесткостью в объятия правительственной бюрократии, которая единственная могла против «воли большинства» реализовать предлагаемую им образовательную программу.

Катков отлично осознает, что реальную единую высокую культуру в России ещё только предстоит создать. И именно с этим связан катковский классицизм, являющийся попыткой задать максимально высокую и объединяющую этнокультурные группы образовательную планку. Этот ассимиляторский аспект катковской образовательной программы зачастую забывается, когда встает вопрос о причинах ощущаемого в ней некоторого нигилизма в отношении русских культурных начал. Русское начало в его славянофильском понимании, будучи положено в основу образовательного стандарта, вольно или невольно «разделяло» бы. Классическое, как казалось Каткову, объединяло и задавало искомый стандартизированный образец высокой культуры.

Разумеется, такая программа идеального тождества государства и культуры, свободного от сепаратистских и этнических «узких мест», могла быть в реальности осуществлена только правительством при помощи административной и образовательной политики. Никакие частные, общественные силы не могли бы сравниться по эффективности унифицирующего воздействия с циркуляром Министерства Просвещения. Именно здесь кроется исток того феномена, который А.Э. Котов наименовал «бюрократическим национализмом» Каткова. «В 1870-е годы Катков всё больше осознает, что обладает одним лишь средством для проведения в жизнь своих взглядов – государственным аппаратом», – отмечает исследователь.

Возможно, более точно было бы сказать, что в реальных исторических условиях России второй половины XIX века для реализации катковской ассимиляционистской культурно-политической программы не было и не могло быть иного исполнителя, кроме бюрократии, поскольку именно бюрократия осуществляла поддержание петербургской империи в «западноевропейском» историческом поясе, для которого катковская программа и была актуальной.

Расхождение Каткова со славянофилами в этом смысле так же были предопределены. Славянофильский кружок действовал, ориентируясь на этническое пробуждение русских как своего рода «малой нации», заключенной в стальной кокон европеизированной империи, в рамках которой русские оказались в значительной степени лишены права на культурную самобытность и политическую представленность. При этом славянофилы апеллировали к обществу, как совокупности реально существующих или воображаемых действующих сил этноса, надеялись на самоорганизацию русских сил на основе традиционной культуры, сохраненной в своей чистоте крестьянством.

Катков сходится со славянофилами в том, что Россия должна быть «для русских». Он одним из первых употребляет это словосочетание. Однако в его случае речь идет об ориентированности политики государства на интересы нации как исторического феномена и гражданского сообщества. Поскольку для Каткова и лично, и в качестве представителя ассимиляционистского национализма, характерен некоторый нигилизм в отношении допетровской русской культуры, то и опора на массовые общественные силы, соединенные именно этой культурой, оказывается для него невозможной.

Единственное исключение, которое делает Катков для старой России в своём отрицании, – это государственное строительство, государственный инстинкт русского народа, которыми он буквально заворожен на протяжении всего своего полувекового публицистического творчества. Здесь

из-под его пера могут вырваться и апология Ивана Грозного (фигуры для славянофилов неприемлемой), и восторг перед старомосковской бюрократией: «Старый дьяк Московского государства, не знавший ни по-французски, ни по-немецки, не слушавший университетских лекций, не походил, как мы, на ребенка, но был настоящим человеком, зрелым мужем, судил о вещах здравомысленно и как следует зрелому мужу. Почитайте только наши старые юридические акты и посравните их с лепетаньем наших нынешних ученых юристов…»

Воплощением государственного инстинкта и государственного начала volens nolens* является государственный аппарат. И потому катковский национализм самóй своей неумолимой логикой вынужден был принять бюрократический, административный, анти-«общественнический» оттенок. Потому Катков был обречен на противостояние славянофильской программе соборного устроения России на основе общественных элементов. То общество, от имени которого хотели выступать славянофилы, должно было быть перековано, а того общества, которое соответствовало бы катковскому национально-культурному идеалу ещё не было, его только предстояло создать.

С середины 1870-х гг. редакция всенародно любимой газеты «Московские ведомости» превращается в «департамент Каткова», в котором сидит как в центре плотной политической паутины её редактор, ставит и свергает министров, меняет течение внутренней и внешней политики, кажется иногда могущественней императора. Тем характерней тот факт, что сам Михаил Никифорович, сидя, точно паук, в центре сотен политических нитей, никогда никаким государственным постом, хотя бы иллюзией административной власти не соблазнился. Как не был он и «серым кардиналом». Напротив, он всегда претендовал на смысловое управление правительством при помощи обнародования публичных «передовых»

* Волей-неволей (лат.). – *Прим. ред.*

директив. Делая ставку на бюрократию, Катков, однако, управлял этой бюрократией при помощи газеты.

В этом тоже нет ничего удивительного для эпохи становящегося новоевропейского национализма, в формировании которого именно пресса сыграла, наряду со школой, ведущую роль. «Общая культура становится необходимой тогда, когда труд перестает быть физическим и становится семантическим», – отмечает исследователь европейских национализмов нового времени Эрнст Геллнер. И подчеркивает, что «это требует длительного обучения и огромной семантической дисциплины».

Таким фактором семантической дисциплины для европейских обществ той эпохи становится газета. «Из множества непредвиденных последствий книгопечатания наиболее известно, видимо, рождение национализма, – отмечает в своем «Понимании медиа» Маршалл Маклюэн. – Политическая унификация населений на основе диалектных и языковых группировок была немыслима, пока печать не превратила каждый народный язык в экстенсивное средство массового общения. Племя – расширенная форма семьи, состоящей из кровных родственников, – взрывается печатью и заменяется ассоциацией людей, гомогенно обученных быть индивидами. Сам национализм предстал в энергичном новом визуальном образе групповой судьбы и группового статуса и зависел от скорости движения информации, которая до появления печати была неведома».

Сама газета – это своего рода наглядный образ нации. Литеры на одном языке идут строгими рядами в постоянном и логичном расположении, всякое слово на своём месте – этот порядок не нарушают ни варваризмы, ни вульгаризмы, ни диалектизмы.

Катков был конгениален самому духу национальной прессы – стандартизированному, стирающему границы племенной и сословной особенности, сопрягающему всех, включенных в определенное языковое поле, в единый политический

порядок. В нём нет пристрастия к этническим подробностям, как он выражался: «сочиненным теориям, возводящим в мертвящий идеал status quo народного быта», характерного для славянофилов. Но нет и космополитической растворенности либерализма, оборачивающейся «патриотизмом заграницы», когда «наша интеллигенция выбивается из сил показать себя как можно менее русской, полагая, что в этом-то и состоит европеизм».

Особенностью этого словесного космоса в России было то, что он был монологом одного человека. Причем воспринимался как монолог, пожалуй, в ещё большей степени, чем был на деле. Передовицы «Московских ведомостей» создавались коллективным Катковым, целым кругом авторов, соединенным, однако, единством идей и волей редактора «Московских ведомостей» практически до неразличимости.

«В России и Центральной Европе книга и газета развивались почти одновременно, в результате чего эти две формы так и не были четко разделены. Тамошняя журналистика распространяет частную точку зрения литературного мандарина», – отмечает Маклюэн. Катков, безусловно, был именно таким «литературным мандарином», рассматривавшим газету как изложение своей частной точки зрения. «“Московские Ведомости” – мой личный орган», – говорил Михаил Никифорович князю Н.П. Мещерскому.

Катковские «Московские ведомости» были своего рода книгой-монологом в обертке рекламной смеси. «Рекламные объявления (и сводки положения дел на рынке ценных бумаг) – это фундамент, на котором держится пресса». Передовые статьи «Московских ведомостей», прославившие Каткова, не были «передовицами» в современном понимании этого слова. Они начинались на второй, а порой и на третьей странице вслед за объявлениями, как правило – непосредственно над «передовицей» шел репертуар Малого театра. «В пятницу, 2го іюля КЪ МИРОВОМУ, к в 3 д. ЦЫГАНКА…» Иногда, конечно, эти репертуарные объявления без всякого умысла

звучали в унисон самим передовицам, так что нарочно не придумаешь: «В понедельник, 25го октября: ЛИБЕРАЛЪ, к въ 5 д. МОДНЫЙ ЛАКЕЙ» (№ 231 от 24 октября 1871 г.). Были тут, и вексельные курсы и отчеты о финансовом положении банков и сборах железных дорог. Но основу финансовой стабильности катковской газеты составляли казенные объявления, право печатания которых неоднократно становилось инструментом шантажа со стороны тех или иных уязвленных катковским пером чиновников.

Взору грамотного русского общества представала экстравагантная картина, как в капле отражающая этап в истории русской прессы и развития гражданского общества, не вполне исчерпанный и по сей день. Газета – рекламная смесь, держащаяся на монопольном праве размещения императивно-монологичных государственных объявлений, которыми оплачивается императивно-монологичный же голос «литературного мандарина», использующего эту газету для нападок на высших чиновников, по сути на всех, кроме императора (на деле и на императора тоже, но более прикровенно). Издатель-монологист как частное лицо из Москвы выступает от имени русского общественного мнения и пуще всего печется о том, чтобы лишиться независимости и не быть обвиненным в подкупности, однако его монологи воспринимаются, в петербургских кабинетах как руководство к действию, а в Европе трактуются как голос политики России едва ли не в большей степени, чем ноты Министерства иностранных дел.

Против течения

1878 год Михаил Никифорович начинал в приподнятом настроении, как и вся Россия. На Шипке всё было спокойно и торжествующая Россия наблюдала за осуществлением славянской мечты, чувствовала свое возвращение в ряд великих держав «первого класса». Пусть кусает локти султан,

пусть бессильно рычит Лондон, пусть недовольно хмурится Берлин, армия «Белого генерала» подошла к самым воротам Стамбула и Османы подписали Сан-Стефанский мир. По сути – капитуляцию.

Царствование Александра II приходит к своему апогею – реванш за Крымскую войну, ради которого, по сути, и затевались все Великие Реформы, состоялся, высший смысл прошедших двух десятилетий обретен. И обретен за счет небывалого, невероятного национального единства, которое достигнуто в ходе добровольческого движения и само́й войны – либералы и консерваторы, крестьяне и помещики, все, кроме разве что Толстого с его Левиным (и то ситуация понятна, Толстой, в общем-то, был сломан крымским поражением, война уже тогда, по сути, потеряла для него смысл и это только должно было проявиться), объединились вокруг идеи освобождения славян.

«Великая задача подъятая Россией, наглядно выразившая объединение русского народа с его Верховной властью… всё это должно было отразиться даже на среде фантазирующих недоумков, освежить её притоком чистого воздуха, отрезвить её искусственное возбуждение, отвратить от бессмысленных и пагубных начинаний», – писал в эти дни один из авторов «Московских ведомостей».

Но не тут-то было.

«Англичанка гадит», – объясняли помещику Г.Н. Энгельгардту основы международного положения простые смоленские крестьяне и были безусловно правы. Правительство Б. Дизраэли начинает ожесточенную внешнеполитическую атаку на Россию, добиваясь ревизии Сан-Стефанского договора. Россия и Великобритания оказываются на грани войны…

И в этот момент в России начинает разворачиваться то, что в советской историографии было прозвано «второй революционной ситуацией». Толчком к невиданной дотоле в истории России волне терроризма послужило покушение

революционерки Веры Засулич на Санкт-Петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова и её последующее оправдание.

В деле этом немало загадочного. Обычно его пересказывают так – самодур Ф. Трепов высек студента А. Емельянова (Боголюбова) и прочитавшая об этом возмущенная В. Засулич выстрелила в градоначальника-держиморду. Однако в этом деле были «оттеночки» – 14 июля 1877 года Трепов инспектировал Петербургский дом предварительного заключения, где содержались обвиняемые по «процессу 193-х», то есть революционеры-пропагандисты. Войдя в тюремный двор, он обнаружил 4-х заключенных, которые приветствовали его поклоном – Трепов сделал резкий выговор начальнику тюрьмы, что заключенные, вопреки правилам гуляют вместе. Революционер Емельянов, известный под псевдонимом «Боголюбов», встрял в разговор и начал оправдываться: «Я осужден по другому делу…» Возмущенный дерзостью Трепов сказал: «В карцер» и отправился по своим делам…

Спустя некоторое время Трепов встречает во дворе… все того же Емельянова, поскольку указание о карцере было проигнорировано. Емельянов, видя градоначальника, шапки не снимает и не здоровается… «В карцер! Шапку долой!» – кричит Трепов и своей рукой сбивает с головы Емельянова фуражку. Емельянов испуганно отшатывается назад. Видящие всё это дело заключенные решают, что Трепов ударил Емельянова. Начинается бунт, крики, стук в окна, через решетку в Трепова летят разные предметы…

Разъяренный Трепов… Нет, не бросается бить или сечь Емельянова и прочих, а отправляется к А. Ф. Кони – прокурору окружного суда Санкт-Петербурга, чтобы получить дозволение применить наказание, но не застает того дома (позднее Трепов говорил Кони, что если бы тот вовремя высказал ему свои возражения, изложенные задним числом, то порки бы не было). Тогда Трепов отправляется к министру юстиции графу Палену… и от того получает дозволение на порку. Емельянову дают 25 розог (по меркам той эпохи – ничтожное

наказание, несравнимое даже со школьными). «Из-за вас теперь Боголюбова приказано сечь» – объясняет бунтующим заключенным начальник тюрьмы майор Курнеев…

Однако немедленно включается обычная для либеральной среды тех лет фабрика слухов. Секли не Емельянова, а Боголюбова (почувствуйте слова на вкус). Секли не «Боголюбова», а всех заключенных подряд. Дали не 25 розог, а пороли до потери сознания (именно эту ложную версию выдвигала в своё оправдание потом Засулич). Ф. Трепов убийца и изверг, коему нет прощения. На градоначальника готовится сразу несколько покушений… И всё это при том, что вопрос о допустимости или недопустимости действий Трепова был спорен – исправительные порки для заключенных были законодательной нормой, и вопрос был лишь в том, мог ли отдать об этом указание Трепов или нет.

Когда 24 января 1878 года В. Засулич выстрелила в Ф. Трепова, заработала чудовищная машина по раскачиванию страны. Всем было очевидно преступление Засулич и существовала масса способов ее наказать. Однако министр юстиции граф К. Пален, почему-то, любой ценой стремится передать дело в суд присяжных, настаивая, что те непременно осудят террористку. Следствие велось халатно, к делу даже не были приобщены материалы об участии Засулич в тайных обществах, так что создавалось впечатление, что речь шла о романтической одиночке. Дело вообще сознательно деполитизировалось.

«Всякий намек на политический характер из дела Засулич устранялся с настойчивостью, просто странною со стороны министерства, которое ещё недавно раздувало политические дела по ничтожным поводам… Из следствия было тщательно вытравлено всё имевшее какой-либо политический оттенок. Лопухин кричал всюду, что смело передает ему такое дело, хотя мог бы изъять его путем особого высочайшего повеления; с легковесною поспешностью подготовлялся процесс, который должен был иметь во многих отношениях роковое

значение для дальнейшего развития судебных учреждений», – писал впоследствии А.Ф. Кони, бывший председателем Санкт-Петербургского окружного суда.

Кони считает такую подготовку процесса провокацией против новых судебных учреждений и суда присяжных. Однако вернее думать, что К. Пален и А. Лопухин вели дело к оправданию Засулич вполне сознательно и прекрасно сознавали тот резонанс, который это дело будет иметь. Одновременно «раскачивание» идет по всей стране, в Москве распространяется прокламация «От московской учащейся молодёжи», в котором речь идет о всё том же деле «Боголюбова».

И вот, 30 марта 1878 года, после недолгого суда, центральной частью которого была восторженная речь защитника П. Александрова, председатель суда А. Кони задает присяжным три вполне ясных вопроса: «Первый вопрос поставлен так: виновна ли Засулич в том, что решившись отмстить градоначальнику Трепову за наказание Боголюбова и приобретя с этой целью револьвер, нанесла 24 января с обдуманным заранее намерением генерал-адъютанту Трепову рану в полости таза пулею большого калибра; второй вопрос о том, что если Засулич совершила это деяние, то имела ли она заранее обдуманное намерение лишить жизни градоначальника Трепова; и третий вопрос о том, что если Засулич имела целью лишить жизни градоначальника Трепова, то сделала ли она всё, что от неё зависело, для достижения этой цели, причем смерть не последовала от обстоятельств, от Засулич не зависевших». На все три вопроса присяжные, встреченные овацией публики, отвечают: «Невиновна!»

То, что речь шла именно о внешнеполитическом ударе по престижу России, талантливо разыгранном наводнявшей Россию и особенно её верхи британской агентурой, было ясно всем, кроме восторженной либеральной публики. Канцлер Австро-Венгрии Д. Андраши требовал военных кредитов, Б. Дизраэли уже направил английский флот в проливы.

Европейскую ситуацию решала позиция Германии, практически всемогущей во внешней политике после 1871 года. Дело Засулич становится для О. фон Бисмарка то ли причиной, то ли поводом «удивить Россию неблагодарностью» за поддержку в ходе войн за объединение. В беседе с графом П. Шуваловым О. фон Бисмарк формулирует свою позицию: «Вы полностью заинтересованы в договоренности с Австрией и поддержке Союза трех императоров. Революционные элементы усиливаются. Процесс Засулич испугал меня как симптом и особенно как проявление вашего общественного мнения». В Санкт-Петербурге позицию Бисмарка расценили как предательскую. И, в самом деле, Берлинский конгресс превратился в коллективное унижение победоносной России. «Берлинский трактат есть самая черная страница в моей служебной карьере», – написал канцлер А.М. Горчаков. «И в моей тоже», – прибавил Император.

Не будь Каткова, эта страница могла бы быть еще чернее. Известие об оправдании Засулич было опубликовано в московских газетах 1 апреля и сперва Катков считал его шуточным розыгрышем. М.Н. Катков ещё не понимает что происходит – свою передовицу от 2 апреля, посвященную критической военно-дипломатической ситуации на Босфоре он заключает словами: «известия так смутны и отрывочны… предоставим себе льготу блаженного непонимания ещё на несколько часов…»

Однако уже 3 апреля 1878 года новая провокация производится уже в Москве и именно эта провокация становится для Каткова ключом к развязке дела Засулич. В Московскую пересыльную тюрьму прибыли для отправки в ссылку 15 студентов Киевского университета. «Земля и Воля» организовывает шумную и агрессивную демонстрацию в их адрес. Толпа студентов бежала за каретами с арестантами от самого Курского вокзала с криками: «Ура!» Затем «землевольцы» начали принуждать к тому же толпу – голытьбе кидали деньги, с пытавшихся увернуться обывателей сбивали шапки.

Пробежка несогласных закончилась в Охотном Ряду. Торговавшие там простые крестьяне – зеленщики и мясники, вместо того, чтобы ломать перед крамольниками шапки, начала их избивать. Избиение революционеров было жестоким и едва не перелилось в сам университет, находившийся тогда на соседней Моховой. Слово «охотнорядец» с тех пор стало самым страшным ругательством и главным пугалом для российской «демократической интеллигенции». А Катков получил возможность писать о деле Засулич, взяв единственно верный тон – тон противопоставления народа, интересы которого выражает Самодержавие, и оправдавшей Засулич интеллигентной публики, служащей марионеткой в руках иностранцев.

4 апреля 1878 года М.Н. Катков выступает с резкой передовицей, полностью поддержавшей «охотнорядцев»: «Неужели вы думаете, что наши народные массы будут равнодушны при демонстрациях подобного рода, как вчерашняя… Если вы хотите жить в мире с русским народом, не издевайтесь над его верованиями, не будьте бессознательными орудиями врагов его Отечества».

А 6 апреля выходит первая часть его знаменитой статьи: «Наше варварство – в нашей иностранной интеллигенции» (вторая часть статьи вышла 28 апреля 1878 г.). Катков разъясняет, что не те мужики, которые бьют врагов государства и Государя, «варвары» и «чернь», а как раз те представители «интеллигенции», которые в тяжёлый для Отечества час бьют ему в спину, одобряют и приветствуют теракты, служат интересам вполне определенного внешнего врага.

Как и в 1863 году, М. Катков оказался первым и единственным публицистом пошедшим «супротив» позиции «публики» в деле Засулич. Вся российская печать всех оттенков уже успела изъявить свои публичные восторги и «отважным поступком» Засулич и «благородным» решением присяжных. И вдруг – пощечина и со стороны «охотнорядцев», и со стороны Каткова. 6 апреля «Правительственный вестник»

помещает информационное сообщение об инциденте, комментируя его выпиской из «Московских ведомостей»: «Это ответ русского простого народа на скандал избранной публики, бывший 31 марта в Санкт-Петербурге». Восторги либералов захлебнулись на полуслове и сменились выкриками ярости в адрес Каткова.

На возмущения в адрес «самосуда охотнорядцев» Катков язвительно напоминал либеральной печати её недавние восторги по поводу самосуда Засулич. И либералом приходилось оправдываться, что они и «против самосуда дикой черни», и «против самосуда револьвера». Настаивать, что интеллигенция совсем не против народа, и это лишь Катков натравливает народ на интеллигенцию. Была пущена дезинформация, что все события 3 апреля есть ни что иное как «провокация агентов Каткова» (Каткову вообще приписывалось влияние, сравнимое с влиянием спецслужбы). Наконец (как это знакомо!), охранителя пытались обвинять в «провоцировании революции»: «Понимаете ли Вы всю тяжесть ответственности, которую Вы несете, бунтуя народ?! Вы, столь подозрительный, во всяком образованном человеке видящий революционера, оказываетесь самым революционным из всех в данное время», – писалось в одном из полученных Катковым комментариев от анонима.

Понятное дело, что публицистика Каткова сама по себе не могла остановить и исцелить нараставшей общественной болезни. «Земля и Воля» начинает настоящую террористическую вакханалию по всей стране. Акты неповиновения, выстрелы в чиновников и губернаторов следуют один за другим.

Террор является фоном Берлинского конгресса, но не стихает и после этого – 4 августа 1878 года «землеволец» С. Степняк-Кравчинский убивает шефа жандармов Н. Мезенцева. Своё дело он обделал с величайшим хладнокровием. Когда ничего не подозревавший Мезенцев вышел на прогулку, Кравчинский пошел ему навстречу с кинжалом,

завернутым в большой лист бумаги. Поравнявшись со своей жертвой, он чуть не до рукоятки воткнул кинжал и имел предусмотрительность даже повернуть его во внутренностях убитого. Затем он вскочил в пролетку, ожидавшую его, и ускакал.

Не удивительно, что в итоге террорист оказался в Лондоне, где занялся литературной деятельностью. Кстати именно С. Кравчинский помог своей любовнице Этель Лилиан Войнич написать роман «Овод»; литературно беспомощная патетическая книга была возведена антироссийскими революционерами едва ли не до уровня мировой классики.

Однако вакханалия террора не была бы возможна без попустительства ей в верхах. Террористические акты и волнения использовались группой либеральных бюрократов как способ давления на императора. Великий князь Константин Николаевич, Д.А. Милютин, А.В. Головнин, А.А. Абаза, до некоторой степени П.В. Валуев пытались в качестве средства успокоения народа предложить ту или иную форму «дворянского представительства», то есть переход Самодержавия под бюрократически-олигархический контроль. Вместо полицейских мер и проектов по наведению порядка, императора Александра II, затравленного революционерами (которые в 1879 году устраивали взрывы и периодически палили по нему), заваливали проектами государственного переустройства.

Михаил Катков и «Московские ведомости» не щадили красок для характеристики либеральных бюрократов «со Станиславом на шее и фригийским колпаком на голове»: «Поглядишь на него с лица – генерал, человек, облеченный во власть; представитель установленного законного порядка; глянешь со стороны – радикал, перед которым Гамбетта* “мальчишка и щенок”… Этот слуга, облагодетельствованный

* Леон Гамбетта (1838–1882) – французский политик-республиканец, премьер-министр Франции в 1881–1882 гг. – *Прим. ред.*

правительством, будет доказывать вам, что “тут радикальные потребны измененья”», – писал Б. Маркевич.

Защищать Императора и жертв терроризма бюрократия попросту не собиралась. Один из корреспондентов Каткова пересказывал слова петербургского полицмейстера по поводу покушения на Императора под Москвой. Издеваясь над бессилием московской полиции, чиновник заявлял: «А впрочем, и мы сами ни за что не можем ручаться, если только в скором времени не будет дарована России конституция». При таком подходе к делу приходится удивляться не тому, что Александра II убили, а тому, что под градом покушений он прожил целых два года.

После убийства Н. Мезенцева в печати было категорически запрещено обсуждать следствие и розыск убийц. М. Катков, всегда игравший за гранью фола, обошел этот запрет изящным ходом – он сочинил воображаемый суд над террористами и зло высмеял нравы почтеннейшей публики, неизменно стремившейся осудить и заклеймить не убийц, а их жертв.

«Они [террористы] увидели бы себя на возвышении перед избранною публикою, восторженно и подобострастно устремившею взор на этих интересных молодых людей… Началось бы следствие над покойным генерал-адъютантом Мезенцевым, были бы вызваны свидетели, быть может из жандармской команды, для дачи показаний в оправдание, очищение и прославление мотивов, вооруживших против него карательную руку; тихонько прокралось бы бледное, себе не верящее слово обвинения, раздался бы трескучий дифирамб защиты; рукоплескание, всеобщее волнение, затаенное дыхание публики, оправдательный приговор присяжных, наконец, апофеоз с феерверком… Мы не сказку сказываем, это быль».

У М. Каткова был собственный кружок, достаточно влиятельный в правительственных делах. В него входили член Государственного совета К.П. Победоносцев, адъютант Великого князя Константина Николаевича генерал А. Киреев,

управляющий II отделением князь С. Урусов, граф Г. Строганов, начальник цензурного управления Е. Феоктистов, товарищ государственного контролера Тертий Иванович Филиппов. Административной силой «катковской» партии был министр просвещения граф Д.А. Толстой.

Михаил Катков всеми силами старается организовать общественную кампанию и против террористов, и против конституционных проектов. Он настаивает на предельной жесткости спасительных мер: «Страх побеждается страхом. Пагубный страх перед темными силами может быть побежден только спасительным страхом перед законной властью», – пишет Катков 4 апреля 1879 года. А 6 апреля продолжает, что в России расползание зла остановит лишь: «Сосредоточение власти в одной сильной руке при полном согласии правительственных ведомств и подчинении всех раз и навсегда установленному и неуклонно исполняемому плану».

М. Катков энергичней всех отстаивает идею диктатуры, сосредоточения власти в руках надежного слуги государева, который со всей жесткостью усмирит крамолу. 9 февраля 1880 года М. Каткову сообщили – «свершилось по мысли вашей». Александр II решил создать Верховную распорядительную комиссию (ВРК) и поставить в её главе знаменитого генерала, героя кавказской и турецкой войн Михаила Тариэловича Лорис-Меликова.

Выбор оказался до крайности неудачным. М. Лорис-Меликов, несмотря на таланты военного и администратора, был сторонником «умеренного прогресса в рамках законности». Свою «диктатуру сердца» он воспринял не как долг по спасению жизни Государя и подавлению террористической сети, а как возможности провести очередные либеральные преобразования. Большую часть своего времени новый «диктатор» посвящал не собственно борьбе с революционерами, а попыткам понравиться публике и тем, якобы, выбить почву из-под ног революции.

Абсурдность этой идеи сейчас вполне понятна, но была понятна и тогда – очевидно было, что речь идет не о широком движении народа или хотя бы элиты, а о деятельности законспирированной и, возможно, управляемой из-за рубежа группы заговорщиков, которая поставила своей задачей уничтожить императора и была готова не останавливаться ни перед чем. Никаким введением конституции, никакой отменой налога на соль, «Желябовых» и «Перовских» было не остановить. И М. Лорис-Меликов попусту разменивал своё и императорское время на обсуждение либерально-бюрократических проектов, которые никак не могли бы изменить объективно сложившуюся ситуацию.

Понятно, что Катков должен был оказаться главным оппонентом «диктатора» и стоявшей за ним либеральной партии. Убедившись в том, что глава ВРК никак не соответствует тому образу, который Михаил Никифорович рисовал в своих статьях, Катков начинает на Лорис-Меликова атаку.

20 марта 1880 года выходит передовица Каткова, посвященная отказу французского правительства выдать России беглого революционера Л. Гартмана: «Мы так странно ведем дела, что в умах французов могла зародиться уверенность, что власть в России если не завтра, то послезавтра достанется тому же Гартману или Лаврову…» Европейские державы, по мнению Каткова, «начинают сомневаться в прочности нашего нынешнего положения, видя, как неясна и неопределенна наша правительственная программа, как силен повсюду господствующий у нас обман и как нагло предъявляет вражеская крамола, с которою правительство борется – не борется, как примыкающая к правительству интеллигенция пасует перед этой крамолой, а законная печать с нею перемигивается».

Передовица Каткова вызвала настоящую истерику либералов всех мастей, тем более что они получили, казалось бы, удобный повод свалить своего дотоле неуязвимого врага, выставив себя «лоялистами» и обвинив его… в «антиправительственной пропаганде». По мнению либералов,

М. Катков, «вставая в позу охранителя», только усиливает радикальных революционеров, загоняет их в угол, в то время как миролюбивая и направленная на общественное согласие политика диктатора «оздоровит» атмосферу в обществе… Даже классические славянофилы из аксаковского «Дня» призывали друг друга «восставать против Каткова, высказывать зловредство его направления и статей».

Был ли этот взгляд либералов глупостью или изменой – трудно судить. Но, во всяком случае, ничего общего с реальностью фанатичной безжалостной секты террористов их представления о революционерах не имели. Напротив, взгляд Каткова был абсолютно реалистическим. Однако именно этого реалиста и решил убрать «диктатор», чтобы он не нарушал атмосферы благорастворения атмосфер. Сперва была предпринята попытка объявить «Московским ведомостям» предупреждение, но она была торпедирована К. Победоносцевым, разъяснившим в высоких сферах, что такое предупреждение страшно ударит по престижу правительства. Зато на Каткова начали давить свои же, разъясняя ему, что резкость тона надо убавить, иначе не избежать беды.

Наконец, самый болезненный удар был нанесен «катковской» группе в апреле 1880 года – в отставку был отправлен министр просвещения граф Д. А. Толстой; «катковцы» лишились главного административного ресурса и даже катковские «классические» образовательные реформы оказались под угрозой. Этот удар заставил Каткова отступить и его прямые атаки на группировку Лорис-Меликова прекращаются.

Успех «диктатора» был предопределен во многом тем, что он и кружок либеральных бюрократов были теснейшим образом связаны с многолетней любовницей Александра II, а с июля 1880 года его женой, – Екатериной Михайловной Долгорукой, княгиней Юрьевской. Скандальный брак императора вызывал много кривотолков, был настоящей миной под царскую фамилию. Но ещё хуже было то, что вокруг Екатерины Михайловны группировались люди вполне

определенного сорта – это были чиновники и коммерсанты, не брезговавшие коррупцией, наживавшие крупные состояния на казенном строительстве железных дорог и их последующей приватизации. Императорская метресса охотно и небезвозмездно протежировала различные махинации.

После брака, состоявшегося 6 июля 1880 года, жизнь многих членов царской фамилии и, прежде всего, цесаревича Александра и цесаревны Марии превратилась в ад. Они вынуждены были наблюдать не просто морганатический брак императора, но брак, основанный на слепом обожании и приправленный исключительной наглостью. Княгиня Юрьевская не умела или не желала уметь себя вести: покрикивала на императора и «тыкала» ему, всячески подчеркивала, что любимым ребенком в новой императорской фамилии является «Гого» – маленький князь Георгий Александрович Юрьевский.

В придворных кругах начали циркулировать слухи о том, что вскоре Е. Юрьевская будет коронована, да еще и с именем Екатерины III, а «Гого» будет объявлен новым наследником. Даже если эти сведения были выдумкой, всё равно было очевидно, что княгиня нуждается в серьёзной политической поддержке. И она вполне нашла союзника в М. Лорис-Меликове, который, напротив, нуждался в сильной придворной поддержке своих реформаторских начинаний. «Диктатор», конечно, не забывал подчеркнуть уважение и к цесаревичу, но для реализации его грандиозных планов были нужны именно княгиня Юрьевская и Александр II под её влиянием. И напротив, только в «прогрессивной» и «демократизированной» атмосфере потенциальная императрица смотрелась бы органично, её поддержка конституционных и реформистских проектов М. Лориса-Меликова, в частности и его борьбы с «катковской» партией, была вполне понятна.

И Михаил Никифорович едва ли не впервые в жизни уходит от лобового столкновения. Он прекращает критику кажущегося всесильным временщика, мало того, пытается пусть и натужно показать свою лояльность и поддержку.

«Люди старых и новых порядков группируются вокруг одного великого общего дела. Если опыт удастся, заслугу графа Лорис-Меликова оценит история; если не удастся, то следует винить положение, среди которого ему приходится действовать», – пишет М. Катков 3 августа 1880 года.

Однако отсюда не следует, что Катков прекратил полемику против конституционализма. С августа 1880 года в «Русском вестнике» печатаются очерки Варфоломея Кочнева (ближайший соратник Каткова профессор Н.А. Любимов) «Против течения. Беседы о революции». Главной темой очерков становится Франция перед Революцией. Опираясь на замечательное исследование И. Тэна «Происхождение современной Франции» и отчасти предвосхищая работы Огюстена Кошена, Н. Любимов показал, как из умеренного либерального прогрессизма Ж. Неккера вышел, как из бутылки, джинн Революции, как, казавшаяся невинной, затея с призванием нотаблей в итоге переросла в присвоение власти Учредительным собранием. Смута, революция, мятеж распространяются сверху вниз, начиная от недомыслия и прекраснодушия верхов, они приводят к буйству и жестокости черни. Революция и смута, по сути, навязываются народу заигравшимися верхами.

Статьи Н. Любимова – смелая попытка поставить палки в колеса государственной машине, скатывающейся под откос. Но в целом настроения М. Каткова очень пессимистичны. Когда Б. Маркевич спросил М. Каткова о причинах его уступок и пассивности, то в ответ услышал: «Для кого писать? Тот, для кого я единственно держал перо в руках, сам отступается от своей власти, удерживая только её внешность. Всё остальное – мираж на болоте».

Чем дальше, тем больше Катков осознает полное личностное крушение Александра II как самодержавного монарха, видит, что всю свою огромную власть государь использует преимущественно для создания удобств своей новой семье и готов ради этого даже на Лорис-Меликовскую конституцию.

А самого Каткова, тем временем, «добивают» – начинается финансовый скандал с якобы присвоением газетой сумм, принадлежавших Московскому университету. Каткову приходится защищаться, оправдываться и тратить время и силы на сохранение своей репутации, а не на политическую борьбу.

Летом, на «Пушкинском празднике» 1880 года, затравленный М. Катков пытается пойти на компромисс, как-то протянуть руку интеллигенции. В ответ его унижают еще сильнее. Посланное М. Каткову как редактору «Московских ведомостей» приглашение на пушкинские торжества было публично аннулировано.

В редакцию «Московских ведомостей

Комиссия Общества любителей российской словесности удержала одно место для депутата от «Русского вестника». По ошибке послано мною приглашение и в редакцию «Московских ведомостей» – приглашение, не согласное с словесным решением комиссии.

Председатель
Общества российской словесности
Сергей Юрьев

Несмотря на эту пощечину, на торжественном обеде 6 июня 1880 года Катков произносит речь о необходимости объединения всех общественных сил, забвении старых разногласий во имя России. «На русской почве люди, так же искренно желающие добра, как искренно сошлись все на празднике Пушкина, могут сталкиваться и враждовать между собой в общем деле только по недоразумению». Затем, в качестве жеста примирения, М. Катков тянется с бокалом к И. Тургеневу, но тот отдергивает руку… «Есть вещи, которых нельзя забыть, – объяснял Тургенев Достоевскому тем же вечером, – как же я могу протянуть руку человеку, которого я считаю ренегатом?..»

Однако Пушкинский праздник всё равно оказался триумфом Каткова. Главным героем Пушкинского праздника стал Фёдор Михайлович Достоевский – стратегический

союзник Михаила Никифоровича в политике и главный автор, главный романист катковского «Русского вестника». Именно М. Катков настоял на произнесении им «Пушкинской речи».

«Дело главное в том, что во мне нуждаются не одни Любители российской словесности, а вся наша партия, вся наша идея, за которую мы боремся уже 30 лет, ибо враждебная партия (Тургенев, Ковалевский и почти весь университет) решительно хочет умалить значение Пушкина как выразителя русской народности, отрицая самую народность. Оппонентами же им, с нашей стороны, лишь Иван Серг. Аксаков (Юрьев и прочие не имеют весу), но Иван Аксаков и устарел и приелся в Москве. Меня же Москва не слыхала и не видала, но мною только и интересуется. Мой голос будет иметь вес, а стало быть, и наша сторона восторжествует. Я всю жизнь за это ратовал, не могу теперь бежать с поля битвы. Уж когда Катков сказал: “Вам нельзя уезжать, вы не можете уехать” – человек вовсе не славянофил, – то уж конечно мне нельзя ехать», – писал Ф.М. Достоевский жене.

Несмотря на попытки западнической части юбилейной комиссии полностью запретить чтения Ф. Достоевского, именно его «Пушкинская речь» стала центральным событием праздника и настоящим триумфом всей славянофильско-патриотической линии. После выступления Ф. Достоевского в зале слышались рыдания, восторженные крики, кто-то упал в обморок. Иван Аксаков просто отказался читать свою речь – ибо всё сказано. «Пушкинская речь» была опубликована в «Московских ведомостях».

А из Варшавы, в ответ на попытки либералов унизить Каткова раздался голос Константина Леонтьева, предложившего в своём «Варшавском дневнике»… поставить Каткову памятник напротив памятника Пушкину. Прямо сейчас, при жизни.

«Не испорченный ложными идеями свободы русский простой человек скорее поймет дух “Московских ведомостей”,

чем дух “Беседы”, “Голоса”, “Молвы” (ибо это всё, в сущности, одно и то же)…

Публицисту “Московских ведомостей” более других принадлежит первое место на празднике поэта, который тоже был народен в лучшую и зрелую пору своего творчества и которого силятся теперь (под покровом закона) сделать популярным, вероятно, вовсе не для того, чтобы народ понимал и читал “Клеветникам России”, “Полтаву” и переложение молитвы “Отцы пустынники и жены непорочны”, а для того, чтобы до него дошли такие минутные вспышки переменчивого и разнообразного гения…

Покойный Бодянский тоже ненавидел лично Каткова, но он понимал его, и в государственном отношении он ему сочувствовал. Он говорил не раз мне самому, пишущему эти строки:

– Катков личный мне враг!.. Я его терпеть не могу; но он первый, он великий русский публицист…

Если бы у нас, у русских, была бы хоть искра нравственной смелости и того, что зовут умственным творчеством, то можно было сделать и неслыханную вещь: заживо политически канонизировать Каткова. Открыть подписку на памятник ему, тут же близко от Пушкина на Страстном бульваре. Что за беда, что этого никто никогда и нигде не делал? Тем лучше! “Именно потому-то мы и сделаем!”… Пусть это будет крайность, пусть это будет неумеренная вспышка реакционного увлечения. Тем лучше! Тем лучше! Пора учиться, как делать реакцию…»

Предложение Леонтьева, кстати сказать, до сих пор не реализовано и до сих пор актуально.

Последние рубежи

События, последовавшие за трагедией 1 марта 1881 года, стали настоящим триумфом М.Н. Каткова. Со всей решительностью Михаил Никифорович бросается в атаку на тех,

кто убеждает Александра III продолжить курс отца на дарование конституции. Манифест Александра III о незыблемости самодержавия обозначает нравственную и политическую победу редактора «Московских ведомостей», который сразу же верно предугадывает народно-монархический характер будущего царствования.

«Есть один царский путь. Это не путь либерализма или консерватизма, новизны или старины, прогресса или регресса. Это и не путь золотой середины между двумя крайностями. С высоты царского трона открывается стомиллионное царство. Благо этих ста миллионов и есть тот идеал и вместе тот компас, которым определяется и управляется истинный царский путь.

В прежние века имели в виду интересы отдельных сословий. Но это не царский путь. Трон затем возвышен, чтобы пред ним уравнивалось различие сословий, цехов, разрядов и классов. Бароны и простолюдины, богатые и бедные, при всем различии между собой, равны пред Царем. Единая власть, и никакой иной власти в стране, и стомиллионный, только ей покорный народ – вот истинное царство.

В лице Монарха оно владеет самою сильной центральной властью для подавления всякой крамолы и устранения всех препятствий к народному благу. Оно же, упраздняя всякую другую власть, дает место и самому широкому самоуправлению, какого может требовать благо самого народа, – народа, а не партий.

Только по недоразумению думают, что монархия и самодержавие исключают “народную свободу”, на самом же деле она обеспечивает её более, чем всякий шаблонный конституционализм. Только самодержавный Царь мог без всякой революции, одним своим манифестом, освободить двадцать миллионов рабов, и не только освободить лично, но и наделить их землей. Дело не в словах и букве, а в духе, всё оживляющем.

Да положит Господь, Царь Царствующих, на сердце Государя нашего шествовать именно этим воистину царским путем, иметь в виду не прогресс или регресс, не либеральные или реакционные цели, а единственно благо своего стомиллионного народа».

В царствование Александра III М.В. Катков играет видную роль в разработке и проведении контрреформ, нацеленных на ограничение того духа анархии, который привел к революционной смуте и трагедии цареубийства: ограничение автономии университетов, введение на селе института земских начальников, ограничение прав земств. Всё это М. Катков обосновывает философией центростремительной концентрации власти. Его всё чаще называют «реакционером».

Однако ни с какой точки зрения не реакционной оказывается его экономическая программа, в которой Катков выступает одним из идеологов решительной модернизации и индустриализации страны.

На момент воцарения Александра III в русском обществе существовал своего рода право-левый, чиновничье-помещичье-революционный консенсус: путь индустриального развития – не для России; капитализм нашей стране не подходит, так как ведёт к обнищанию-пауперизации населения; промышленность ведёт к появлению пролетариата, страдающего и нищающего класса. Чтобы не допустить бедности и народных страданий, Россия должна оставаться аграрной и крестьянской страной, в которой механизмы русской сельской общины якобы предохраняют мужика от полного обнищания и являются залогом перехода к социализму, минуя капитализм (тут с русскими народниками соглашался даже сам Карл Маркс).

Неприкосновенность аграрного строя и неприкосновенность общины для недопущения пролетаризации были той платформой, на которой смыкались цареубийцы-народники, консервативные помещики и озабоченные на свой лад общественным благом чиновники. Считавшийся главным

идеологом царствования Александра III, К.П. Победоносцев также полагал, что ни общину, ни аграрный строй трогать не нужно, так как якобы только они являются залогом интуитивного крестьянского благочестия и верности монархии (иллюзия, за которую Россия дорого заплатила в 1905 году).

Предполагалось, что Россия прекрасно может жить потреблением и экспортом продукции своего сельского хозяйства, избегать ловушек «рабочего вопроса», а необходимую промышленную продукцию импортировать на вырученные за зерно деньги, преимущественно из Германии. Фактически предполагалось, что Россия будет функционировать как аграрный придаток германской индустрии, и обе страны будут находиться в гармонии и согласии.

Оппонентов этого пути, настаивавших на необходимости развития самостоятельной промышленности, на разрыве с индустриальной зависимостью от немцев, на протекционистских тарифах, национализации железных дорог, инвестициях в индустрию, можно было пересчитать по пальцам одной руки и они почти все были собраны в редакции «Московских ведомостей». Это был сам Катков. Это были начавшие сотрудничать с Катковым ещё в 1870-е гг. идеологи русского протекционизма В.А. Кокорев и Н.Х. Бунге; это были два постоянных корреспондента «Московских ведомостей»: математик и инженер-машиностроитель И.А. Вышнеградский и молодой карьерист-железнодорожник С.Ю. Витте, большой поклонник главной политико-экономической доктрины индустриализации, теории национальной политической экономии, созданной Фридрихом Листом. Вне «катковского» круга из индустриалистов оставался великий учёный-химик и экономист, создатель российской нефтяной промышленности Д.И. Менделеев, рассорившийся с Катковым (неприятие классицизма в образовании и защита свободы университетов).

Позиция этих людей – защитников идеи опережающего индустриального развития страны (ратовавших за основание

национальной промышленности, которая порвала бы с зависимостью от Германии и была бы защищена от неё тарифами), полагавших, что в развитии рабочего и предпринимательского слоёв нет ничего дурного; настаивавших на том, чтобы вместо тормозящей экономическое развитие общины крестьяне получили настоящую частную собственность, – была позицией абсолютного меньшинства в тогдашней российской элиты.

Против протекционизма с одинаковой силой выступали как народнические, так и либеральные публицисты, не говоря об аграрных консерваторах. Если бы вопрос о будущем развитии России решался «демократически» или «аристократически», то со стопроцентной гарантией стране была бы избрана роль тихой аграрной державы, постепенно всё более отстающей от Соединенных Штатов Америки (США), Германии, даже Франции, занимающей место на мировой периферии и постепенно «обкусываемой» более агрессивными и развитыми соседями, вроде Японии.

М.Н. Катков с привычной для него яростностью бросился на защиту русского индустриального протекционизма: «Мы не пользуемся нашими богатствами – вот где причина зла… Мы стоим твердо на том, что Россия самой природой предназначена исключительно для культуры хлебных растений, почему и обязана производить только хлеб и выменивать его у иностранцев на предметы заводской и фабричной промышленности. Но, на беду, в настоящее время Россия уже перестала быть житницей Европы, мы уже далеко не исключительные поставщики хлебных продуктов в Европу и начинаем уступать свое место на иностранных хлебных рынках… а мы, между тем, отказываемся от развития у себя даже таких производств, как каменноугольное и железное, продолжая при громадном развитии у нас железнодорожного и механического дела работать на иностранном чугуне и угле.

Громадные залежи железа и каменного угля остаются почти нетронутыми, каменноугольная и железная промышленность

подавляются страшной иностранной конкуренцией, и если в первые годы нынешнего столетия Россия занимала одно из первых мест по производству железа, то теперь она уступает маленькой Бельгии, вырабатывающей железа в полтора раза более, нежели Россия. Вместо покровительства отечественной промышленности и народному труду является покровительство иностранной промышленности: при помощи правительственных субсидий вдоль нашей западной границы возникает множество переделочных заводов, работающих на чужом материале и весьма часто чужими руками. Питая эти чужеядные организмы, мы в то же время жалуемся на нашу бедность и на недостаток заработков у массы населения…

Чуть поднимется какой-нибудь вопрос об охране и поддержании отечественной промышленности, о доставлении работы неимущим классам населения, тотчас же "общественные деятели" и всезнающие специалисты, вызываемые в качестве экспертов, спешат затормозить вопрос и решить его в противоположном смысле… Если мы не догадаемся вовремя захватить в свои руки монополию в нефтяном производстве и в переработке имеющих обширную будущность продуктов нефти, то, быть может, в непродолжительном времени нам придется облагать пошлиной ввозимые к нам масла, выработанные из нашей же нефти».

Промышленная программа, поддержанная Катковым, воплотилась уже после его смерти, волей императора Александра III и усилиями сотрудников «Московских Ведомостей» – Вышнеградского и Витте. В 1891 году был введен отстаиваемый Катковым жесткий протекционистский тариф, и, одновременно, состоялся внешнеполитический разворот России от Германии к Франции, связанный именно с тем, что Германия рассматривала Россию как аграрную колонию для своей промышленности, а Франция, напротив, была готова инвестировать свои капиталы в развитие русских железных дорог и индустрии.

Профранцузская ориентация, можно сказать, стоила жизни Михаилу Никифоровичу. Убедившись в том, что дальнейшая прогерманская ориентация, непоколебимая при Александре II, угрожает России потерей внешнеполитической независимости он со всей решимостью и самоуверенностью «теневого правителя» взялся за её исправление. И далеко вышел за те границы, которые считал допустимым Александр III, совершенно не намеревавшийся позволять Каткову править вместо себя. Парадоксальным образом, заговор брата В.И. Ульянова (Ленина) – Александра Ульянова погубил и Каткова.

«Статьи Каткова по вопросам международной политики были проникнуты безграничным презрением к нашему Министерству иностранных дел, – вспоминал один из видных сотрудников «департамента Каткова» Е.М. Феоктистов, – он не щадил самых мрачных красок для изображения той печальной роли, на которую была осуждена Россия; конечно, всё это должно было производить сильное впечатление на публику, – впечатление неблагоприятное не для одного только Гирса, ибо кто же не понимал, что жалкий Гирс был не более как исполнитель? И он, и ближайшие его сотрудники говорили во всеуслышание кому угодно, что руководителем нашей внешней политики является исключительно сам государь, и этому можно было верить. Есть немало доказательств этого. Неудивительно поэтому, что наиболее запальчивые статьи “Московских ведомостей” раздражали государя, иногда он высказывал по их поводу своё неудовольствие графу Дмитрию Андреевичу, и раза два или три мне приходилось частным образом сообщать Каткову, чтобы он был осторожнее, но предостережения эти нисколько не действовали на него. Наконец разразилась буря.

Это было в марте 1887 года. Надо заметить, что за несколько дней пред тем (1 марта) открыт был замысел цареубийства, главными виновниками коего оказались некоторые из студентов С.-Петербургского университета: это событие,

хотя государь вообще отличался невозмутимым спокойствием, не могло, конечно, не породить в нём сильное раздражение… В среду 11 марта получил я от Плеве… должность, приглашение посетить его по особенно важному делу. Оказалось, что государь возвратил ему царское обозрение, в котором была резюмирована передовая статья № 66 "Московских ведомостей" с своими отметками. Вот что было написано им на первой странице: «В высшей степени неприличная статья. Вообще Катков забывается и играет роль какого-то диктатора, забывая, что внешняя политика зависит от меня. И что я отвечаю за последствия, а не г. Катков; приказываю дать Каткову первое предостережение за эту статью и вообще за все последнее направление, чтобы угомонить его безумие, и что всему есть мера". Против того места статьи, где говорилось о несчастном для нас тройственном союзе (России, Германии и Австрии), государь написал: "Если он это узнал, то только от изменника; требую, чтобы Катков назвал личность, от кого получил все эти сведения".

Победоносцеву удалось переубедить Государя, доказав ему, что публичный удар по Каткову, статьи которого во всей Европе читаются как более весомый голос России, чем депеши министерства иностранных дел, будет воспринят по сути как революция, как землетрясение русского политического режима. Государь передумал: "По разным соображениям я передумал дать Каткову предостережение, а скажите Феоктистову, чтобы он ехал в Москву, и передайте ему статью с моими замечаниями, чтобы лично прочесть их Каткову и передать ему, что я уверен, что на будущее время Катков воздержится от подобных статей о внешней политике. Если бы он обращался, как прежде, за сведениями в Министерство иностранных дел, то знал бы, что и как писать, и мог бы действительно приносить пользу. Только из уважения к личности Каткова я не хочу карать его гласно, а предпочитаю сделать это таким путем. Можете дать Феоктистову и это мое письмо, чтобы он мог прочесть его

Каткову… Я поступил сгоряча, – выразился государь, – конечно, дать предостережение “Московским ведомостям” по многим причинам неудобно, но они должны изменить тон; слышал я, что Катков собирается в Петербург; как только он приедет, уведомьте меня; я позову его к себе и сам сделаю ему внушение», – передает слова императора Феоктистов.

Вскоре состоялся личный разговор императора и публициста, описываемый Феоктистовым так: «По словам Каткова, государь начал строгими замечаниями, но затем разговор перешел вообще к направлению нашей внешней политики, и Катков имел возможность изложить по её поводу свои соображения. Все они встречали одобрение императора, который утверждал только, что и Гирс вполне разделяет их и что нет никакого основания раздражать против него общественное мнение постоянными намеками, будто он не сочувствует национальной политике. Катков позволил себе заметить, что Гирс не может пользоваться доверием публики уже потому, что носит нерусское имя.

– Я знаю, – сказал государь, – что его считают иностранцем; это очень удручает его, и уж как усердно старается он выставить себя русским! При теперешних обстоятельствах он для меня как нельзя более пригоден. Если бы война когда-нибудь возгорелась, что я считаю великим бедствием, то это будет война продолжительная, беспощадная; было бы безумно отважиться на неё, не приготовившись как нужно; поневоле надо медлить, стараться выиграть время, не надо зарываться, а Гирс такой человек, что не зарвется; осторожность – драгоценное в нем качество.

Государь особенно настаивал на том, чтобы Катков сблизился с Гирсом.

– Вы будете, по крайней мере, – заметил он, – иметь все данные, чтобы судить безошибочно о положении дел; по моему приказанию Гирс ничего не будет утаивать от вас.

Между прочим зашла речь и о том, кто сообщил Каткову нежелательные для оглашения сведения о тройственном союзе, государь даже прямо спросил, не получил ли он их от нашего бывшего посла в Берлине Сабурова (родного брата того, который управлял Министерством народного просвещения). Катков старался уверить, что никто не разоблачал ему тайны, что это было с его стороны делом догадки, что многое объяснилось для него мало-помалу из случайных его разговоров с разными лицами, близкими к дипломатическому миру. Как увидим, ответ этот показался государю – иначе и не могло быть – далеко не удовлетворительным, но при свидании, о котором я рассказываю, он ничем не обнаружил своего неудовольствия.

Дня чрез два после этого Победоносцев писал мне: "Катков доволен. Не знаю, довольно ли он научен после свидания. Я говорил ему, но при случае и вы скажите: эй, завяжи на память узелок! Что бы ему fortiter in re, suaviter in modo [твердо в деле, мягко в средствах (лат.)]… А я в другой раз едва ли решусь вмешиваться в дело".

Подобные увещания были бы совершенно бесполезны уже потому, что Катков вышел из кабинета государя ещё более уверенным в себе, ещё тверже проникнутым мыслью, что он должен идти неуклонно по избранному им пути».

Однако в мае 1887 года разразилась уже окончательная катастрофа. Императору поступил депеша от русского посла в Париже следующего содержания: «Фрейсинэ отставлен. – Флоке сделал все возможные попытки, чтобы стать министром. – Подействовал на Греви письмом Каткова, в котором Катков говорит, что его назначение министром будет хорошо принято в России и что русское правительство не замедлит сделать соответствующее заявление Лабулэ. – Дело верное. – Посредник между Катковым и Флоке – Цион».

М. Катков в своих мыслях вознесся так высоко, что решил манипулировать назначениями не только в российском, но и в общеевропейском масштабе. Его ставка на французского

политика-центриста была тем более скандальной, что в 1867 году во время визита Александра II в Париж тот лично оскорбил русского императора выкриками: «Да здравствует Польша, Месье!»

«По поводу этой депеши, – вспоминает Феоктистов, – государь дал полную волю своему негодованию. В самых резких выражениях отзывался он о дерзости, с какою Катков вмешивается в вопросы о сформировании французского министерства, расточает даже какие-то обещания от имени нашего правительства; государь говорил, что внешнею политикой заведует он сам и считает бунтовщиком всякого, кто с этою политикой не согласен, возлагал ответственность за подпольную интригу главным образом на Н. П. Игнатьева, которому хотелось бы во что бы то ни стало сесть на место Гирса, упоминал, называя их негодяями, о Богдановиче, Татищеве и Циона как о клевретах Игнатьева и в заключение всего приказывал графу Толстому принять самые энергические меры, чтобы положить конец подобным безобразиям».

Михаил Никифорович запутался в плотной сети международных авантюристов, которые убеждали его в том, что он может с легкостью влиять на политику Франции в пользу сближения двух стран. А агентура Бисмарка, рассматривавшего Каткова как злейшего врага, постаралась в наихудшем свете представить его действия императору. Михаил Никифорович умер среди горя и разочарования, казалось бы, потерпев полное поражение в своей внешнеполитической партии.

Тем удивительней были последующие события. Российская Империя сперва приняла отстаивавшийся Катковым антигерманский покровительственный тариф, а в царских покоях и вовсе зазвучала мелодия «Марсельезы». На недоумения канцлеров монархических центральных держав: как возможно сближение самодержавной монархии и революционной республики? – русские дипломаты отвечали, по сути, катковскими фразами.

«Тот только и может быть нам истинным союзником, кого ход событий сблизит с живыми и существенными интересами нашего отечества, будет ли то президент Соединенных Штатов или богдыхан китайский… мы должны знать только интересы нашего отечества и руководствоваться в наших делах, в наших сближениях и разрывах только нашим долгом перед судьбами России» – писал М.Н. Катков в 1887 году.

Характерно в этом смысле объяснение русского советника Г.Л. Кантакузена с министром иностранных дел Австро-Венгрии графом Г. Кальноки (кстати, одним из главных «антигероев» катковской публицистики последних лет): «Конечно никто из тех, кто слушал звуки “Марсельезы” в присутствии нашего монарха и его французских гостей, не старался найти в этой музыке что-либо иное, кроме как звуки национального гимна великой державы, делающей всё возможное для выражения почтения его императорскому величеству и своих симпатий к России». Это место письма князя Кантакузена удостоилось высочайшей пометы: «Совершенно верно».

Впрочем, при обсуждении «профранцузской» ориентации Каткова зачастую забывают, что он ориентировался не на французских радикалов-республиканцев, а, напротив, на центристские и правые слои Франции, буланжистов и будущих антидрейфусаров, таких, как знаменитый поэт-националист Поль Дерулед, приехавший на катковские похороны. Дерулед по приезде в Москву возложил на могилу Каткова «роскошный, художественно сделанный венок из желтых иммортелей, перевитых национальными русскими и французскими лентами»; после одной из панихид он выступил с большой речью. Если бы удержалась катковская тенденция влиять на французскую политику вместо того, чтобы приспосабливаться к ней, как знать – не была ли бы союзницей России значительно более «правая» Франция, нежели та, в которой главным «тигром» был враг П. Деруледа – Ж. Клемансо.

Трудно сказать, злом или благом для России была последняя битва Каткова – битва за русско-французский союз.

Как бы развернулась история, если бы Россия не вступила в Первую мировую войну? Но нельзя не отдать должное воле и масштабу политической мысли Каткова – он направлял курс российской политики даже из гроба.

Настоящим триумфом катковской идеологии стала столыпинская эпоха: сочетание охранительства и прогрессизма, которое наверняка привело бы Михаила Никифоровича в восторг; поднятие на щит принципа национальной политики и чёткое проведение её в Западном крае; наступление на крестьянскую общину; развитие железнодорожной инфраструктуры. Даже риторический строй речей П. Столыпина, пожалуй – величайшего политического оратора в русской истории, перекликается именно с публицистикой редактора «Московских ведомостей».

Казалось, последовавший вскоре революционный провал России должен был покончить с памятью о Каткове навсегда. Могила его в Свято-Алексеевском девичьем монастыре была уничтожена, а кости, если верить преданиям старых прихожан, подвергнуты коммунистическими активистами нарочитому глумлению.

«Октябрьская революция» наглядно опровергала риторику публициста о том, что «Россия есть страна самая антиреволюционная в целом мире». А её вождь Владимир Ульянов был воплощенной насмешкой над катковской образовательной реформой.

«Дело не в том только, чтобы понимать дух древних авторов, а в том, чтобы с ранних лет привыкнуть к упорному и последовательному умственному труду. И я не отвергаю, что в России много умных людей; только и из них очень немногие умеют продержать пять минут в голове одну и ту же мысль», – обосновывал Михаил Никифорович свой классицизм.

Никто не мог бы упрекнуть золотого медалиста симбирской гимназии, у которого всегда было «Из греческого – пять! Из латыни – пять!», в неумении держать в голове одну

и ту же мысль и в неспособности концентрироваться на главном. Однако предметом этой концентрации стали не Фукидид и Цицерон, не русская национальная история и культура (приобщения к которым, как горестно сокрушался В. Розанов, катковская гимназия и не предполагала), а идеи А. Герцена, Н. Чернышевского и К. Маркса. В ленинском плане монументальной пропаганды числились, конечно, братья Гракхи и Брут, но это, скорее, наследие Французской Революции, нежели катковских гимназий. Наложение «Комментариев о Галльской войне» на «четвёртый сон Веры Павловны Розальской» в числе прочих плодов породило концентрированный нигилизм, который убил всё остальное.

Можно было бы предположить, что в советский период М. Катков навсегда останется забытым реакционером, чей карикатурный портрет будет выложен центонами* из ленинских цитат. Но вот в 1978 году В.А. Твардовская выпускает классическую монографию «Идеология пореформенного самодержавия». В ней дочь великого поэта А.Т. Твардовского, выпускавшего здесь же, в двух шагах от былой резиденции Каткова, культовый для советской либеральной интеллигенции журнал «Новый мир», с редкой для второй половины «застоя» публицистической страстностью начинает бичевать позабытого издателя газет за крестовый поход против «нашей иностранной интеллигенции», предпринятый им в апреле 1878 года по случаю выступления «охотнорядцев». За неожиданно страстными для работы, посвященной событиям столетней давности, оценками («бесталанные, низкие и злобные выученики», «невежественный реакционер», «жалкая попытка дискредитации») виден второй смысл, обращенный к куда более близким событиям преследования «советской» интеллигенции, недовольной властью.

* Стихотворение, сложенное из строчек уже известных читателю произведений. – *Прим. ред.*

Проходит ещё тридцать лет и главный государственный пропагандист Империи возвращается в оборот государственной пропаганды новой России. 31 августа 2008 года, вскоре после «пятидневной войны» Дмитрий Киселев в телепрограмме «Вести» в контексте антирусофобской полемики вдруг начал цитировать Каткова: «Вслед за Тютчевым о внутрироссийской русофобии как о настоящем предательстве писал и известный публицист XIX века Михаил Никифорович Катков: “Наша интеллигенция выбивается из сил, желая показать себя как можно менее русскою, полагая, что в этом-то и состоит европеизм. Но европейская интеллигенция так не мыслит. Наше варварство в нашей иностранной интеллигенции. Истинное варварство ходит у нас не в сером армяке, а больше во фраке и даже в белых перчатках”».

Антиреволюционная и антилиберальная полемика Каткова и его единомышленников в одночасье ожила, когда оказалось, что современное государство вполне может быть сокрушено новым типом революции, в которой центральным элементом оказывается протест «креативного класса». Тяжкий млат катковской публицистики оказался добрым полемическим оружием и доднесь. Страж Империи и в посмертии охраняет её крупнейший осколок.

Но актуальность Каткова не ограничивается одной лишь его охранительной ипостасью. Возрастает, несмотря на Casus Ulianovi, число сторонников катковского образовательного классицизма. С болезненной актуальностью, точно сошедшие со страниц современных националистических блогов, звучат инвективы «Московских ведомостей» в адрес антинациональной политики, плодящей сепаратизмы.

«Мы приобрели бессознательную склонность давать не только особое положение инородческим элементам, но и сообщать им преимущества над русской народностью и тем развивать в них не только стремление к отдельности, но и чувство гордости своею отдельностью; мы приобрели инстинктивную склонность унижать свою народность».

По целому спектру вопросов – единство и целостность России и угроза сепаратизма, русофобский настрой нашей интеллигенции, украинский вопрос, необходимость индустриального и инфраструктурного развития, тяготение над теми или иными нашими ведомствами проклятия превращения в «иностранные министерства русских дел», – катковские идеи, оценки образы оказываются сегодня более актуальными, чем выстроенные со всем глубокомыслием теории. И не случайно, что современная российская историография переживает настоящий «ренессанс Каткова»: число одних только монографических исследований этой фигуры уже превзошло своим количеством дореволюционную пору

Что читать о Михаиле Каткове:

1) Воспоминания о Михаиле Каткове. – М.: Институт русской цивилизации, 2014;

2) *Катков, М.Н.* Имперское слово / Сост. Михаил Смолин. – М.: Редакция журнала «Москва» (Серия «Пути русского имперского сознания»), 2002;

3) *Катков, М.Н.* Собрание сочинение в 6-ти томах. Составители: А.Н. Николюкин, Т.Ф. Прокопов. Редактор А.Н. Николюкин. – М.: Росток, 2011–2012;

4) *Котов, А.Э.* «Царский путь» Михаила Каткова. Идеология бюрократического национализма в политической публицистике. – М.: Владимир Даль, 2016;

5) *Санькова, С.М.* Михаил Никифорович Катков. В поисках места (1818–1856). – М.: АПК и ППРО, 2008;

6) *Холмогоров, Е.С.* Национализм центростремительного движения. Политическая метафизика Михаила Каткова // Тетради по консерватизму. –2018. – № 3;

7) *Феоктистов, Е.М.* За кулисами политики и литературы. – М.: Новости, 1991;

8) *Щегловитов, С.Г. [Неведенский, С.].* Катков и его время. – СПб, 1888.